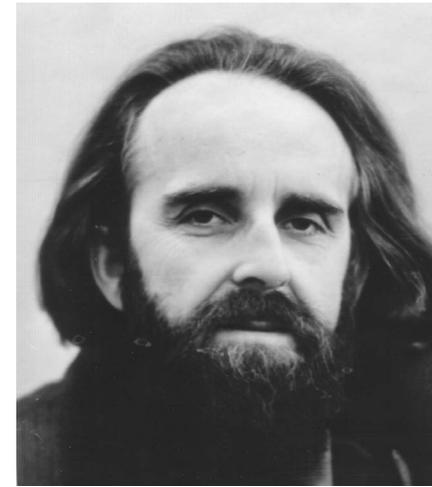


Юрий КРАСАВИН

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

ББК Р6
К 78



ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАСАВИН

Текст печатается по изданию : Красавин Ю.В. Полное собрание художественных произведений.-Тверь.: Наука и культура, 2010.

Родился 7 января 1938 года в селе Мелковичи Солецкого района Новгородской области. Детство прошло в деревне Ремнево Калязинского района Тверской области. Закончил Калязинский машиностроительный техникум в 1959 году. Работал конструктором на Конаковском фаянсовом заводе, учителем в школе рабочей молодежи г. Конаково, собственным корреспондентом газеты «Калининская правда».

В 1969 году закончил Литературный институт им. Горького в Москве.

Член Союза писателей СССР с 1972 года.

В 1975-1982 гг. руководил Новгородской писательской организацией.

С 1984 по 2013 год проживал в г. Конаково Тверской области.

Лауреат литературной премии им. Н. Островского.

Автор четырнадцати книг прозы, вышедших в издательствах: «Молодая гвардия», «Московский рабочий», «Советский писатель», «Современник», «Советская Россия», «Детская литература», «Лениздат» и других.

Более тридцати романов и повестей опубликовал в журналах «Новый мир», «Знамя», «Наш современник», «Роман-газета», «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Север», «Волга», «Москва», «Дальний Восток», «Дон», «Подъем», «Русская провинция».

© Красавин Ю.В., наследники, 2017

КУЛИНА КРАСНАЯ

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

В городе Осташкове эту женщину ещё помнят старожилы. Память стариков отсеивает незначительные события и незначительных людей и оставляет самое крупное, самое яркое.

Чем же памятна была им простая баба - кожевница Акулина Петрова, прозванная Красной? Красотой.

По чужим воспоминаниям я восстановил тогда только один день её жизни, всего один день, примечательный разве тем, что он был праздничным, и еще тем, что в полдень она родила.

От этого дня меня отделяли примерно шестьдесят лет.

Она испуганно вскочила с кровати, не понимая спросонок, то ли вечер на дворе, то ли уже утро. В комнату сквозь засиженные мухами стекла маленьких окон пробивался рассвет. Шагая через спящих на полу ребятишек, она прошла в чулан, поплескала в лицо озёрной водой и утёрлась тряпицей.

Свекровь на печи вдруг застонала во сне, сначала коротко и беспомощно, а потом громко, протяжно,

мучительно. Кулина встала одной ногой на лесенку, потрясла свекровь за плечо:

- Маманя! Маманя, проснитесь!

Та охнула, заворочалась.

- Кулинушка, - проговорила она облегченно, - дурной сон мне приснился: будто бык меня рогами прижал и давит на грудь - дышать нечем. Уж вроде и понимать стала, что не наяву это, а проснуться не могу. Спасибо, голубушка, что разбудила.

Всегда ей снятся дурные сны. То она падает в колодец, то в озере тонет, то в могилу живая зарыта. Кулина часто просыпается от этих стонов, ей жутко. Кажется, что в доме появляется злой дух, который мучает старуху. Кулина будит свекровь, а та и рада избавиться от наваждения.

Уж который месяц старуха не слезает с печи, кашляет. Наверно, скоро помрёт. Печь ради неё протапливают даже летом, чтоб тёплая была.

Рядом с чуланом за ситцевой занавеской спит деверь с молодой женой. Кулина, улыбаясь, заглянула за занавеску и тотчас отвернулась, прыснула от смеха.

- Эй, молодожены! – окликнула она. - Проспите царство небесное. На работу пора!

Старшая девочка, Манька, проснулась, села на полу, откинула рукой спутанные волосы, попросила:

- Мама, пить...

Кулина подала дочери ковшик, и та жадно припала к нему. Потом улеглась, стянула с братишки,

спящего рядом, дырявую шубейку, укрылась сама и тотчас уснула.

На шестерых одно байковое одеяло, просвечивающее от старости, потому укрываются чем попало.

Кулина вышла в сени и чуть не споткнулась: на полу, раскинув руки и ноги, спал муж.

- Ишь, сердешный, - сказала она, - не дошёл.

Вот уже неделю пьёт он беспрестанно, с самого Ильина дня. Недоглядела Кулина - позавчера отнёс куда-то свою красную праздничную рубаху, продал и в тот же день пропил всё до копейки. Утром проснулся, каялся, плакал - рубаха-то единственная, нарядная, такой ни у кого не было, - но к полудню опять был пьянёхонек, а к вечеру и вовсе запропал. Когда он пришел, она не слыхала, спала уже.

Раньше у него не было таких запоев. Случалось, напивался, но на другой же день был трезв и на водку смотреть не мог. Кулина никогда не оставляла его, пьяного, без присмотра: отыщет и приведет домой. А вчера не пошла искать: живот большой, последние дни дохаживает.

Она стащила с мужа дырявые сапоги, из которых выбивались концы портянок: кабы сапоги здоровые были, давно уж пропил бы. Муж даже не пошевелился, из чего Кулина заключила, что напился он крепко.

- Вот дьявол! И где он этого питья достает! - ворчала она. - Кто его поит? Так хлеба добывал бы в

семью, как водку! В доме ни куска, ребята встанут - есть запросят...

И злость разбирала, и жалко было его. Она оттащила мужа в сторону, чтобы не мешал ходить, потом оделась в рабочее. Одежда успела просохнуть за ночь и коробилась, как жестяная.

Кулина вышла на крылечко. Было уже совсем светло. Румяная заря стояла в полнеба, и над лесом вот-вот должно было проклюнуться солнце. В доме, слышно, воркующе засмеялась невестка.

«Ишь, молодым-то всё весело, - подумала Кулина и вздохнула. - Смешно, что есть нечего. Смешно, что не выпалась. Ну, это пока ребятишки не посыпались. Мы, бывало, с Васей тоже по первому-то году... Всякое горе - не горе». И ей стало жалко невестку, которой счастья-то в жизни, как и Кулине, отпущено аршин, а несчастья - верста немереная.

Она пошла скорым шагом по тропинке берегом озера, покачиваясь по-утиному и придерживая руками большой живот.

Легкий туман курился над Селигером. Из-за него издали приплывал печальный колокольный звон с Ниловой Пустыни. Кулина привычно перекрестилась, окинула взглядом по-утреннему синее небо, город, заблестевший на солнце золочеными куполами церкви, озёрный плес со спокойной водой и прошептала:

- Господи, хорошо-то как!

Ей не хотелось думать о том, что весь этот разгорающийся ясный и радужный день она пробудет словно бы в преисподней, в темноте и грязи, а думалось о хорошем.

Там, за туманом, за лесистыми островами Кличен и Городомля, - её родная деревня Николо-Рожок, там она родилась и выросла.

Какая красивая она была в девках, Кулина! Что лицом, что статью - без единого изъяна. И еще веселая была, смешливая: куда бы ни шла, что бы ни делала - всё песни пела.

Однажды в воскресный день приехали в Николо-Рожок осташковские парни, а Кулина с девками как раз хоровод затеяли - все в ярких сарафанах, в козловых башмачках. И приехал с осташами Василий - высокий, стройный и такой ловкий парень в рубахе красной. Это он сейчас, Вася, сдавать стал, а тогда был красавец и грамотный к тому же: читать-писать умел и счёт знал.

После того разу каждое воскресенье приезжал он на лодке. Лишь стемнеет - чу, весла плещут вдали. А она ждёт его на берегу.

Осенью на Покров обвенчались. Что за пара они были! Оба такие красивые - загляденье!

А через неделю после их свадьбы, в самый ледостав, отец утонул в Селигере... Мать теперь одна живёт, а избушка у неё такая ветхая стала, того и гляди повалится. Давненько не была Кулина у матери,

и когда соберется, один бог ведает. А та даже на праздник не приехала нынче. Жива ли? Здорова ли?

Ребёнок сердито ворохнулся в ней, и она почувствовала ладонью, как он уперся чем-то там, внутри, то ли коленочкой, то ли локотком.

Сердцем радовалась она ребенку, всё её существо переполнялось неизбывной радостью материнства. Сердце говорило: пусть он родится здоровым, пусть быстрее растёт, звонче смеётся, резвее бегаёт. А разум протестовал: это плохо, что он родится; у тебя их уже шестеро, и тех нечем накормить, не во что одеть и даже негде уложить спать; а вот скоро у деверя с невесткой ребятишки появятся... нет, пусть он родится мёртвеньким, а потому поднимай тяжелое, не бойся падать, не береги живот.

Осталась позади нищая *Америка* - окраинная слобода Осташкова, заселённая беднотой. Кулина вышла на Большую Знаменскую улицу, - здесь чаще стали попадаться зажиточные дома с крепкими дубовыми воротами. Впереди белеет стена Знаменского монастыря.

Кулина перекрестилась и на Знаменский собор, и свернула налево, в боковую улочку: через бульвар на завод Савина ходить ближе, но нельзя: бульвар для чистых. Савинские кожевники, провонявшие мездрой, клеем, дёгтем, пропитанные дубильными соками, обходят бульвар стороной. А коли появишься там, полицейский мало того, что по уху даст, так еще

и оштрафует.

Осташков исстари разделен на четыре части. Там, где чистенькие домики и мощеные улицы, живут богатые, а где грязь и теснота - бедные. Каждая часть живёт своей собственной жизнью, молится своему святому и празднует свой собственный престольный праздник. Неделю назад в *Америке* отшумел Ильин день. Скоро Спас - это праздник кожевников и сапожников. Кусток, где живут рыбаки, отмечают Смоленскую, а центр города, где купцы и духовенство, празднуют Успенье.

Пожалуй, единственный светлый день в году - престольный праздник. Все становятся такими добрыми, нарядными, веселыми, а веселье Кулина любит больше всего. К полудню все выйдут на улицу. Ребятишки играют в рюхи, а часам к четырём мужики привезут огромную тачку с березовыми чурками, очертят два квадрата, и начнётся большая игра.

Первый рюшник у рыбаков - Лёшка Царь. А в *Америке* - Федька Губернатор. Рыбак Лёшка Царь - высокий, жилистый, а Губернатор - маленький мужичонка, слесарь из депо, глаза у него раскосые, бородёнка кляузная. Царь бьёт по рюхам, словно дрова колет, сильным взмахом, резко выдыхая: «Хук!» - рюхи разлетаются в стороны. А Губернатор размахивается слабо, того и гляди не докинёт, - а выйдет так метко, что непременно выбьет всю грудку рюх, словно языком слизнёт.

У кожевников, что живут возле Савинского завода, главных рюшников двое - Ванька Бог и Санька Хам. Играют они вместе, в одной партии, но им мало радости, если выиграет их партия, и горя мало, если проиграет. Радуетса Бог, если Хам выбил меньше, ухмыляется Хам, если Бог сам стал «рюхой», то есть рассыпал грудку, не выбил ни одной рюхи.

А укупцов главным игроком выходит дураковатый сын лабазника Ваня Блин, сутулый, глыбистый, с постоянной улыбкой на пухлом лице.

Посмотреть на игру этих рюшников собирается весь город. Кричат, советуют, горячатся... Шуму-то, шуму!

«Мой-то Вася тоже ловок на рюхи, - с удовольствием вспоминает Кулина. - В нынешний Ильин день выиграл на спор у самого Вани Блина полтинник... В первый день праздника всё крепился, капли в рот не брал, чтоб в рюхи лучше играть. А потом нализался и с той поры пьёт. А всё из-за чего? Приказчику слово поперёк сказал, с работы прогнали. Если б не это, не бедствовал бы сейчас так, всё кусок хлеба был бы. А нынче не дадут аванса - хоть с голоду подыхай».

Кулина успела на завод в самый раз, не рано и не поздно. Кума Степанида, бабка Маруха, Лиза Пыпкина и Даша Сеницына сидят возле чанов, угощаются копчёным лещом. Глядя на них, Кулине так захотелось солёненького, прямо хоть проси.

- Как дела, Кулина?

- Как сажа бела.

Повеселели бабы, увидев её: всегда-то Кулина улыбается, видно и умрёт со смешками. Однако сильно сдала она в последнее время: щеки ввалились, - одни скулы торчат, губы повяли, на шее жилы выступили. А была-то раньше, всего несколько лет назад, такая вся пышная да вальяжная, шея белая, а лицо в зареве румянца. Недаром же прозвали её - Кулина Красная!

Кума Степанида сразу поднялась:

- Давайте начинать, бабы. Лучше пораньше, чем попозже, а то, не приведи бог, приказчик нагрят.

Бабка Маруха ей:

- Эх, начинать-то тяжело!

И Лиза Пыпкина тоже:

- Как подумаешь, что весь день тут работать, и оторопь берет.

Приказчик Николай Прохорович приветливый, не накричит никогда, а нет на заводе ни одного такого начальника, который бы столько штрафовал.

В помещении полутемно, окошки маленькие, грязные. Всё здесь мокро и грязно: и чаны, в которых кожи дубятся, и пол земляной, и стены в жирных потёках, и кучи корья. Кое-где горят коптилки. От каждой тянется вверх кудрявая струйка копоти, но никто не подвернёт фитиль. И вони уже никто не замечает, привыкли.

Начали с кумой *чан ломать* - вытаскивать из него

конские шкуры да носить их на промывку.

Напарница Кулины, Степанида, в последнее время таскает за двоих, чтоб на неё, беременную, поменьше ноша была. Бредут они, склонясь в поясном поклоне, от одного строения к другому целую версту. С мокрых шкур течёт по телу вода. Наверно, насквозь пропитались они этим дубильным соком, и кожа их тоже дубленая стала. В баню придешь, моешь-моешь голову, а с неё всё красная вода течет - экстракт выходит. Нынче ещё благодать - лето! А зимой бредешь - вода замерзает сосульками на подоле.

У Кулины оранжевые круги в глазах, ноги едва отрывает от земли. Кажется, попадись соломинка на пути - не перешагнуть. Едва донесла. Эхма! Раньше, когда лёгкая была, брала на себя по несколько пудов. Вдвоём со Степанидой работали они, как лошади: один чан заложат - это паевой, норма, а потом второй успевали - шабашный, чтоб приработок был: лишний кусок горло не дерёт. А нынче тяжелая стала - ни повернуться быстро, ни взять поболее. Пожалуй, на той неделе срок рожать.

«Как бы это угораздилось дома родить? - размышляла Кулина. - Стыда меньше, да и хлопот тоже. Четверых родила прямо здесь, в *сыпне*, - так, господи, ни тебе крикнуть, ни ребёнка в тряпицу закутать, ни положить его некуда. Ни один из четверых долго не жил».

Что-то плохо ей было нынче, она задыхалась,

часто присаживалась отдохнуть. По всему телу то ли свой пот, то ли вода течёт ручьями беспрестанно.

- Ох, кума, - пожаловалась она Степаниде, - замучили меня роды. Что ни год, то род.

- Ничего, Кулинушка, видно, так Господь хочет.

- Пошто же он так хочет? - недоумеваает Кулина.

- За первородный Евин грех наказал он всех баб, сказав: *умножая, умножу печали твоя и воздыхания твоя, в болезнях будешь родити чада...*

«Одна баба согрешила, живя в раю, - размышляет Кулина, - а мы все мучаемся».

Она испугалась своих мыслей: как бы не услышал их Бог да не наказал бы! И так несчастье на каждом шагу. Думала ли, гадала ли, что Василия с работы уволят?

В прошлом году вот так же летом дохаживала она последнее, вдруг прибегают: «Свёкор твой умер!» А свёкор утром вместе с ними на работу шел. Правда, жаловался, что болит у него всё внутри. Пятьдесят с лишком лет проработал он в савинской мазильне. Бывало, сходит в баню и жалуется:

- Не пристаёт ко мне вода, как к гусю. Савинские жиры мне и на том свете не отмыть.

Свёкор был мужик добрый, заботливый, с внучатами ласковый; Кулина его уважала. Прибежала она тогда в мазильню, а он лежит на катке, и Дуня Строгова его юбкой своей заплатанной покрыла. Сама стоит в исподнице и плачет.

Переодеть его нельзя было: весь в дёгте, в жирах, руки и ноги покрыты *бугорчаткой*. Живой не отмылся - мёртвого отмоешь разве? Пришла комиссия, да маманя всё скрыла: сказала, что на работу он никогда не жаловался, и что дёготь был ему полезен. И правильно сделала, за то директор Нил Михайлович выдал ей четвертной на похороны. А свёкра завернули в рогожу и свезли на кладбище...

Прибежала в *сыпню* Кулинина старшая девочка, Манька, села на чан и скулит:

- Все есть хотят, папаня ушёл куда-то, бабка стонет... А все есть просят.

Маруха научила:

- Ты поди, девонька, на савинскую кухню. Может, там у кашевара деда Арсения каша подгорела, корки дадут.

Манька убежала, а Кулина решила: пошла к директору просить аванс. Муж не работает, - так не с голоду же помирать!

Страшно зайти к нему в кабинет, но что делать: вчера у приказчика плакала, просила аванс выдать, да без толку.

Кулина остановилась у самого порога, не смея ступить дальше, поклонилась в пояс, сказала робко:

- Здравствуй, господин директор.

Он повернулся от окна, у которого стоял, покуривая в фортку.

- Что тебе?

- К твоей милости, господин директор.

В кабинете чисто и солнечно. Стоит стол на резных ножках, на столе стопки белой бумаги, книги со шнуровкой и раскрытый кожаный портсигар. Говорили мужики, что портсигар этот английской работы, он из савинской кожи и будто бы дороже серебряного. Над столом в золоченой раме портрет батюшки-царя. На другой стене в рядок висят гербовые бумаги с золотыми крупными буквами... Кулина с ужасом увидела вдруг, что на красный ворсистый ковёр, закрывающий весь пол в кабинете, капает вода с её подола, и испуганно прижалась спиной к косяку двери.

- Вот бестолковый народ! - сказал Савин. - Я спрашиваю, зачем пожаловала?

- Батюшка, господин директор, выдай ты мне аванс, - скороговоркой ответила Кулина.

На последнем слове голос её дрогнул. Она поняла, что сейчас заплачет, и замолчала.

- Аванс? - удивился директор, внимательно разглядывая её.

Где-то он встречал эту женщину с такими большими и прекрасными глазами... И вспомнил - это же Акулина! Её все зовут Кулина Красная и относятся к ней с уважением, почитают за красоту.

- Аванс? - повторил директор. - Я не выдаю авансов.

Кулина судорожно сглотнула слюну, и слезы скользнули у неё по щекам, оставив две мокрые

полоски. Она вытерла щеки грязной ладонью, отчего Савин брезгливо поморщился, и продолжала смотреть на него, не мигая.

Раньше, встречая на заводе Кулину, Савин всякий раз думал, что такая красота достойна лучшей судьбы. «Как могла она появиться в нищете и грязи? - недоумевал он. - Поистине природа непоследовательна в своей мудрости! Наконец, как может жить среди пьяниц, сквернословов и попросту скотов эта красавица с глазами мадонны? Ведь красота - Божье благословенье!.. Ах, какие глаза!»

Только эти глаза и остались ныне от прежней Кулины.

- Батюшка, господин директор, - заговорила она громко, - шестеро ребят у меня, а в доме ни куска. Сама я работаю от зари до зари, а мужа недавно уволили. Свекровь больная, умирает...

- Постой, постой, - остановил её Савин и, затаившись папиросой, выпустил дым в потолок, забыв про фортку.

В кабинете пахло ароматным, как духи, дымом.

- Сколько тебе лет, Акулина?

- Тридцать два.

«Не может быть! - не поверил он. - Ей не меньше сорока».

- А детей у тебя сколько, говоришь?

- Шестеро... Да столько же умерло, не доживши до году.

Савин нахмурился, вытащил из кармана часы, глянул. Лучик солнца взблеснул на их золотой оправе и попал Кулине в глаза, она мигнула и снова вытерла щеки грязной ладонью.

- Батюшка! Нил Михайлович! - крикнула Кулина.
- Выдай мне аванс, а то с голоду пропадём.

«Э-э, чёрт! – выругался про себя директор.
- Принесла её нелегкая! Сторожа надо поставить у дверей, чтоб не пускал всяких».

- Авансов я не выдаю, - повторил Савин. - Тебе дай - значит, и другим дай. А у меня вашего брата тысяча человек. Где я столько денег возьму, глупая ты баба?

- Господин Нил Михайлович! Пропадаем. Выдай аванс!

Крючконосый конторщик всунул голову в дверь:

- Господин директор, Акулина Петрова неделю назад получила аванс. Она и его ещё не отработала.

- Ну вот, - удовлетворённо сказал Савин. - Иди, баба, иди. Я занят.

И тут Кулина решилась на отчаянный шаг: шурша загродевшей от грязи одеждой, она легла поперек входа и сказала:

- С места не сойду, пока аванс не дадите. Всё одно помирать.

Савин обернулся, брови его полезли вверх. Крючконосый конторщик кинулся к ней, ухватил за руку, стал поднимать. Да где же ему, тщедушному,

поднять Кулину, лежащую горой, выставив вверх большой живот!

- Оставь её, - сказал Савин. - Дай ей там... сколько-нибудь. Поди, поди, глупая баба.

Кулина по-молодому вскочила, отвесила поясной поклон:

- Спасибо, господин директор.

Конторщик выдал ей три рубля - недельный заработок.

Степанида без напарницы совсем замучилась. Пятьдесят шкур в чану - вытащить надо, да отнести на промывку, да столько же принести от соковых барабанов для новой закладки. А каждая конина около пуда тянет. Всего-то значит, сто пудов перетащи. А потом старую *одубину* (использованное корьё) вынести и новой запастись. А уж потом клади каждую шкуру да корьём пересыпай. Вот сколько работы!

- Пойдём, кума, к соковым, - сказала Степанида устало.

Потаскала Кулина от соковых - живот заболел, неважно. Села возле чана - красный туман в глазах. Потом отпустило. «Уж не началось ли? - подумала она испуганно. - Что-то не похоже на прежние разы».

Пошли опять со Степанидой к соковым - по дороге снова схватило. Перетерпела, однако следующую ношу несла, не ощущая уже ничего, кроме боли, словно всё её тело состояло теперь из одного этого живота, пронизанного нарастающей болью. Не

донесла несколько шагов и брякнулась на пол, прямо в лужу. Степанида склонилась над ней:

- Э-э, бабонька, да что это с тобой?

Подошла бабка Маруха, - маленькая и худенькая, но на работу цепкая, проворная. Когда случаются роды прямо на заводе, она принимает ребёнка.

- Уж не началось ли? - спросила она.

- Ох, началось, видно, бабы...

Кулина с трудом поднялась и, отойдя в сторону, села на корзину с корьём.

- Попросись у приказчика, - посоветовала Лиза Пыпкина. - Может он, ирод, жалость поимеет, отпустит домой?

На неё зашикали:

- Что ты! С ума сошла!

Сама Лиза тоже понимала, что эта затея бесполезная, но уж больно жаль было подругу.

Бабы, столпившиеся было возле Кулины, разошлись: дело привычное, помается да и родит, не в первый раз.

Кулина долго сидела, вслушиваясь в саму себя, иногда крепко сжимая зубы и поводя мутными глазами. А тут и приказчик явился. Подошел, посмотрел на сидящую и сказал:

- Баба ты молодая, Кулина, и работница хорошая, но вот как тебе не стыдно: сидишь ты пьяная, и глаза у тебя посоловели.

Бабка Маруха не выдержала:

- Отпусти ты её домой, Николай Прохорович. Али не видишь, что баба рожать собралась?

У приказчика с Кулиной давние счеты. Одно время он ей проходу не давал: большие деньги сулил, лишь бы согласилась мыть полы в его конторе. А Кулина погрозила тогда мужу сказать, и он отстал, однако с той поры штрафовал за каждую мелочь.

Но, видно с хорошей ноги встал нынче приказчик или просто Кулине везло в этот день: и аванс выпросила, и рожать её отпустили.

- А не дойти мне до дому, бабоньки, - сказала она, уходя. - До *Америки* нашей далеко, а я, чую, надорвалась.

- Ко мне домой поди, я поближе живу, - предложила Лиза Пыпкина.

Солнце только что поднялось к зениту. Было душно и безветренно, а Кулину то в жар бросало, то в холод. Едва от *сыпни* отошла, опять схватило. Прислонилась спиной к закоптелой стене, постояла покусывая губы. «Не дойду, - думала она. - И до Пыпкиных не дойду».

Возле заводских ворот, уже не сознавая, где она и что с ней, а только чувствуя нарастающую муку, она отступила в тень забора, пошатнулась и села. Ни травинки не росло здесь, лишь серая, выбитая земля. Лицо Кулины кривилось в страдальческой гримасе. Она бессмысленно поводила огромными глазами.

- Кулина! Кулина! Что с тобой? - донеслось до неё откуда-то издалёка.

Это две женщины остановились рядом с ней. Она не узнала их, или просто ей было не до них: всё её существо изнывало в муке, и одна только мысль не покидала её - мысль о том, что сейчас должно произойти в таком людном месте и что это нехорошо, стыдно.

Собралось уже несколько женщин. Они встали в кружок, заслонив Кулину от любопытных взглядов. Прибежавшая бабка Маруха елозила перед роженицей на коленях.

Подошел дюжий дворник, пыля сапогами. Одна из женщин пошла на него, толкая в грудь:

- Иди, иди, бесстыжий!

Дворник вылупил глаза:

- Дак здесь не велено...

- Ид-ди! - сказали ему.

Он посмотрел на баб и пошёл назад, опасливо оглядываясь.

Откуда-то появилась вдруг Манька, просунулась между женщинами и закричала отчаянно:

- Ма-а-ма!

Её оттащили в сторону, она заплакала, забилась.

Кулина застонала протяжно и громко, на одной мучительно-напряженной ноте, загребая руками пыль и запрокидывая голову, - и вдруг задышала часто и облегченно. В руках у бабки Марухи мелькнуло что-

то, пискнуло коротко и беспомощно, потом громче, настойчивей.

- Ах-ах-ах! - кудахтала бабка.

Женщины склонились над нею, и каждая протягивала что-нибудь - кофтёнку или головной платок.

В Знаменском соборе величественно ударили в колокол, зазвонили и в других церквах - кончилась обедня.

- Слава те, Богородица, слава те! - сказала Маруха, а женщины перекрестились. - Сын у тебя родился, Кулина.

Спокойно, невозмутимо глядело на мир солнце, и был он прекрасен - большой, многоцветный, под голубым куполом неба.

Почему я написал о ней, о Кулине Красной, умершей задолго до того, как сам я родился на свет? Потому, что люблю её. Образ этой русской женщины, одарённой от природы яркой красотой, незримо витает в городе, в котором я живу.

1968 г.

ПИСЬМО

РАССКАЗ

«Здрастуй, Лесю! Я з великою цікав... цікавистю... прочитав твого листа...»

Самунин Андрей Петрович уже не в первый раз принимался читать это письмо вслух с той насмешливо-язвительной интонацией, которая была несвойственна ему. Он спотыкался на непонятном слове, написанном к тому же весьма неясно, - цікавѣтю или цікавистю, - и сам не сознавал, что его так задевает и сердит. А оно именно сердило. То есть он брался за «листа» с намерением повеселиться, даже поиздеваться и над тем, кто писал, и над тем, кому послано, а потом уже начинал сердиться.

- Здрастуй, - передразнивал он, саркастически усмехаясь. - Что же, по-украински так и пишется: здрастуй? Или ляпнул по неграмотности? Он з великою цікавѣтю... прочитав ее листа! С великою радостью, что ли? Или вниманием? Ну да... «Уси мои твердження виявилися немичними, необдуманними...» Это еще надо поглядеть, что ты там ей толковал, милый мой. Твои твердження небось такая глупость, каких свет не производил до тебя! «Але, люба, ты не врахувала, що я...» Ишь, не врахувала она. Не поняла,

что ли?.. Ань, может, ты знаешь, что такое врахувать?

Жена выглянула из кухни и сказала с легкой досадой:

- Опять ты за то же! И тебе не стыдно читать чужие письма?

- Стыдно... С чего это мне будет стыдно? Вон у Тургенева издано полное с обрание писем. Я читал - очень интересно. Как говорит одна моя знакомая, письма - это квинтэссенция... чего-то там. Дура. Квинтэссенция у нее... вместо ума. Так вот я хочу у тебя спросить: почему письма Тургенева читать нравственно, а вот если некий А. пишет девочке Лесе, то это читать безнравственно? Почему, ну?

- Так то Тургенев, господи! Великий человек - и эти двое кто? Сравнил тоже!

- Не вижу разницы. Все люди, все человеки. Хочу и читаю, раз интересно. У нас в Новгороде нашли берестяную грамоту, написано: «Приходи ко мне, я хочу тебя. А ты меня?» Просто и со вкусом. Поместили в музей под стекло, сам видел. А почему? Потому что интересно его людям почитать. Поучительно. А попадется им мое письмо - пусть читают на здоровье.

- Да уж твои письма! - отмахнулась жена. - Кому они нужны? Ты и мне-то небось написал бы так: уважаемый товарищ, в ответ на ваше ходатайство за номером таким-то...

Она не договорила, засмеялась.

- «Але, люба, ты не врахувала...»

- Чего?

- Не врахувала, говорю. Ясно?

- А ну тебя!

Жена ушла на кухню, а Андрей Петрович, сидя в кресле, бормотал, с трудом разбирая написанное:

- «... Я, в свою чергу, теж чудово могу мовити... ты не пам'ятаєшь...» Ага, вот! - оживился он, дойдя до знакомого и понятного места. - «Люба моя дивчинко, не треба на мене ображатись. Можливо я написав трошки шорсткувато, але не для того, щоб вразити твою нижну, чутливу душу...» Это подхалимаж, милый мой, подхалимаж чистой воды! Что ты перед ней мелким бесом! Ишь, ловко завернул: твою нижну, чутливу душу. Помаслил он ей по самолюбию. Люба моя дивчинко с нежной, чуткой душой. Ах, ах... Хитер. Ладно, поехали дальше. «Я сподивився зробити щось хороше, але не вийшло... вир мени. Я кохаю тебе, а все инше залежить вид нас обох».

В этом месте Андрей Петрович, как в прошлый раз, отложил письмо и, дивясь, покрутил головой. Пока он читал, насмешка его перешла в иронию, ирония - в легкое раздражение, а теперь он уже рассердился.

Он ей написал трошки шорсткувато! Подумайте только! Он совсем не хотел вразити ее нижну, чутливу душу. Ах ты поросенок! Да еще «вир мени, я кохаю тебе...».

Андрей Петрович встал и походил по комнате

из угла в угол в непонятном волнении и с прежней саркастической улыбкой на лице.

- «Все инше залежить вид нас обох...» Да-да, «залежить вид нас обох...». Олух ты царя небесного! Тетерев на токовище. Ничего не видит и не слышит, даже собственной глупости. Ишь, сизый селезень, кря-кря... «Люба моя дивчинко!» Эт, черт! Откуда только слова берутся!

Жена опять выглянула из кухни:

- Да тебе-то что, господи ты боже мой! Парень девке написал письмо, а ты кипятишься. Завидно, что ли? За живое задело?

- Ха! Ладно бы парень девке. Поглядела бы ты на эту девку - желторотая, голенастая, - а туда же, перышки чистит, хвостик топорщит... Не я ее отец!

- Вот именно, - улыбнулась жена. - Опять-таки не твое дело.

- Небось и парень этот ей в пару - тощий, худой, шея из воротника... Однако тоже: «Люба моя дивчинко, все инше залежить вид нас...» Дивчинка из школы небось двойки носит, драть ее ремнем надо и в угол ставить. А он тут трошки шорсткувато написал ей и сокрушается по этому поводу...

Самунин только что вернулся из санатория. Три недели он гулял под пальмами и кипарисами, калился на южном солнце, припекаемый снизу горячей морской галькой. Иногда - на пляже, в столовой - рядом с ним или поблизости оказывалась смуглая

темноволосая женщина с дочкой лет шестнадцати. Мать была, по определению Андрея Петровича, «очень интересная дама», с неторопливой походкой, с такой же медлительной усмешкой, с приятным, таким бархатным голосом.

- В миру я гинеколог, а здесь отдыхающая...

Это Андрей Петрович слышал мельком, как она с кем-то знакомилась. И опять же: интересно сказала. Он даже оглянулся.

Должно быть, профессия наложила на нее отпечаток: в столовой ли, на пляже ли дама держалась с людьми как человек, привыкший к всеобщему уважению и почитанию. И что более всего нравилось Самунину, она вела себя с чарующей и покоряющей бесстыдностью: не смущалась своей наготы, как многие другие, не жеманничала, не кокетничала, а разгуливала в купальнике вполне свободно; в купальном наряде обычно брела от моря до самого санатория и при этом очень непринужденно беседовала с кем-нибудь. Судя по всему, она просто забывала, во что одета в данный момент.

На пляже народу как на базаре. Только на базаре все ходят, топчутся, а тут лежат рядами, словно шпроты в банке. До раздевальной кабинки дойти - проблема. Однажды дама оказалась рядом с Самуниным, просто бок о бок, и вдруг попросила:

- Извините, вы не можете на секундочку отвернуться? Я переоденусь. Не хочется идти в кабину по

этой гальке - ногам больно.

Едва прикрываясь халатиком, быстро сняла мокрый купальник, надела все сухое, поблагодарила соседа небрежно:

- Благодарствую.

И опять же сделала это просто, не ломалась, не стеснялась. А и в самом деле, что тут ломаться! Дети они, что ли: хоть она, хоть Андрей Петрович? «Отношения между людьми должны быть простыми, естественными», - размышлял он, а сам вдруг усмехнулся, вспомнив увиденное только что краем глаза. Эта женщина была такова телом, что, по мнению Самунина, ей можно было разгуливать и в чем мать родила - все только любовались бы, только восхищались.

Дочка ее, сумрачное и довольно капризное создание, чрезвычайно ладненько скроенное, не ленилась ходить в кабинку, а как шла босиком по гальке - это надо было видеть! Впрочем, как заметил Андрей Петрович, дочке тоже очень шло быть или вот так, в купальнике, или в белой кофточке без рукавов и в очень короткой юбочке, то есть когда она вся на виду. «Ишь какие обе! - восхищался тайком Самунин. - На обложку журнала обеих - красавицы. Это у них, видно, наследственное...» Впрочем, однажды эта девчонка надела брючки - ну поглядеть не на что: худая, угловатая. Нет, мама ее во что ни одета - залюбуешься!

Смуглую женщину с пышной копной волос звали Оксана Васильевна. А вот ее дочка и была Леся. Очень красивые имена, только фамилия у мамы с дочкой невзрачная - Шкропанец. Смешная фамилия, легкомысленная.

За обедом мама с дочкой садились за соседний столик. Они уже здоровались с Андреем Петровичем как со «своим», причем старшая дружелюбно, даже ласково, а младшая сумрачно, замкнуто и как бы свысока.

Андрея Петровича мало занимала дочка, зато мамашу он отмечал в любой толпе, любил наблюдать за нею и не упускал из поля зрения. Иногда он и она перебрасывались шутками, потому что ему хотелось сказать что-нибудь очень смешное - смуглая женщина смеялась охотно и как-то по-особенному. Он чувствовал возрастающее непонятное волнение, когда она смеялась. Однажды в разговоре ему приятно было как бы между прочим упомянуть, что у него под началом четыреста человек и есть личный шофер, личный кабинет, личный секретарь. Ему показалось, что Оксана Васильевна стала после этого более благосклонна к нему. А он почувствовал себя увереннее.

- Ну как же, знаю ваши места, - говорил Самунин в своей обычной манере: и сдержанно, и покровительственно. - У меня там друзья живут: Степан Пушик, Павло Добрянский.

- Где именно «там»?

- В Ивано-Франковске.

- Какие же это наши места! Оттуда к нам в Закарпатье сутки добираться.

Мама с дочкой улыбались.

- Все равно, - рассудительно возражал Самунин.

- Ваш край.

Ему нравилось беседовать с нею о чем угодно, пусть даже самый пустой разговор шел - все равно хорошо. Приятно было замечать, что и ей беседа с ним в удовольствие, во всяком случае это она обычно заговаривала. Легкий у нее характер. С кем угодно разговорится - и со знакомым и с незнакомым.

Андрей Петрович чувствовал, что присутствие этой женщины странным образом преображает, молодит его. Он был готов на всякие глупости, лишь бы видеть ее полное, улыбающееся лицо и слышать ее смех. Лишь бы она не отвлекалась на что-нибудь, не отходила. Сначала эту легкость духа, эту прямо-таки юношескую грацию в самом себе, в своих движениях Андрей Петрович отнес за счет южного климата, отдыха. Но это было не так. Он томился и скучал, тяготился бездельем, если не видел поблизости Оксану Васильевну. А если она была рядом или просто в поле его зрения, он оживал. А если они уже разговаривали, Андрей Петрович и вовсе преображался: из солидного, серьезного мужчины превращался в несерьезного и несолидного,

говорливого и шутливого, - по крайней мере, так ему казалось. «Надо быть посдержанней», - упрекал он сам себя.

Впрочем, при всем том ни разу не возникло у него игривой мыслишки насчет ее и себя. Он был очень уравновешенный и добродушный человек, который никогда не позволит себе ничего. Есть она - и как хорошо, что она есть! Нет ее - плохо, но что делать! Увы!.. И - только. Никаких дерзких личных планов, никакого полета мечты не должно быть у человека с положением, семейного, не дурака...

Что касается Оксаны Васильевны, то она была с ним очень дружелюбна, очень ласкова, но такой она была со всеми. «Она не из тех... легкомысленных. Не из вертихвосток, - думал он с удовлетворением. - Очень серьезная женщина... с дочерью».

В день отъезда Оксана Васильевна зашла к нему попрощаться. Он уезжал чуть позднее, под вечер, и потому не спешил. Мама с дочкой на самолет, ему на поезд. Они поговорили несколько минут, пошутили, Оксана Васильевна подала ему руку, пожелала всех благ.

- Очень сожалею, что вы мужчина и я как медик не могу быть вам полезной, - она засмеялась, уходя.

«Озорная женщина», - думал он, глядя из окна вслед им и неопределенно улыбаясь.

Мать и дочь помахали ему ладошками, что-то

сказали друг другу, разом засмеялись и ушли.

Пусто и одиноко стало Самунину. Он походил из угла в угол комнаты, вышел на улицу, посидел в аллее на скамейке, потом вернулся и у входа, на столе дежурной, обнаружил письмо, на конверте которого ему сразу бросилась в глаза фамилия - Шкропанец. Он взял его и так охотно, так радостно заспешил к воротам! Может, они еще не уехали и стоят на автобусной остановке? Как они обрадуются! Но, увы, их там не было!.. Это огорчило его больше, чем он сам мог предположить. Так огорчило, что готов был взять такси и помчаться в аэропорт, однако при спокойном размышлении он решил, что это было бы просто смешно и глупо.

Весь остаток дня Самунин пребывал в недоуменно-мрачном расположении духа. Ему не хотелось ни на пляж, ни в пальмовую аллею. Обедал он нехотя, без аппетита, и сразу после обеда стал сердито собирать вещи в чемодан, хотя до отъезда времени было полдня. Собирался с обиженным видом, словно эта красивая женщина, Оксана Васильевна, обманула его в чем-то, покинула, оставила...

Уже в поезде, расположившись на своей полке, он вспомнил о письме, достал его, разорвал конверт, развернул лист - и вот первое, что попало ему на глаза: «Чо мусь мени здається, що... у нас все будет занадто складним. Чому? Розумиєшь, Лесю?..»

«Погоди-ка, что еще за Лесю?» - остановил

себя Самунин. Только тут он сообразил, что письмо адресовано не Оксане Васильевне, а ее сумрачной дочери. «Как так! - удивился он. - Да это же любовное послание! Той птичке-синичке? Разве ей уже можно писать такое?..»

Да, он держал в руках настоящее любовное письмо, где было и ласковое обращение «любая моя дивчинко», и рассуждение о любви; письмо с обязательными обидами и оправданиями, с законспирированным именем в конце - А.

Андрей Петрович лежал на полке, закинув за голову руку, и вспоминал: это что же, вот та девчонка в крайне короткой юбочке, которая казалась бы совсем неприличной, если бы не юный возраст ее обладательницы, - та девчонка получает такие послания?!

Теперь Андрей Петрович ясно вспомнил, что верно, Леся каждый день приходила к обеду с письмом. Каждый день, уж сидя за столом с ложкой в руке, она разрывала конверт и читала, сумрачно улыбаясь.

И у этой пичуги - любовь? Это по ее адресу вздох: «Який колір твого волосся та очей»? Это ей адресован робкий упрек: «А до того ж ти дуже горда...»? Это она вызывает такую ревнивую заботу и тревогу: «Чи ти зминилася»?

И чем продолжительнее он думал о ней, тем больше и больше дивился: какая же там может

быть любовь, коли сама она, эта Леся, как коза - локти острые, коленки костлявы, ключицы торчат, словно дверные скобки? Другое дело ее мама: у той волосы пышные, походка вальжная, а фигура как у древнегреческой статуи. Красивая, цветущая женщина, в самой лучшей поре. Вот у нее может быть любовь! Вот она достойна самой горячей любви и она может подвигнуть на это великое дело кого угодно!

А дочка что?! Дочка еще тот зеленый росток, который хотя и хорош собою, но цвести не может. Рано!

Однако письмо-то было ей, Лесе, а не красавице маме. В глаза сами собой лезли строчки: «Лесю, ти не уявляєш, як я хочу, щоб у нас все склалося якнайкраще...»

Ишь ты! Чтоб у них все сложилось наилучшим образом... Что все-то? Что?.. Вот дураки, а!

Самунин даже засмеялся.

Письмо не давало ему покоя и дома. Проснувшись в первое же утро, он вспомнил о нем, а вспомнив, воспринял его юмористически и на работу шел, напевая:

У сосида хата била,
У сосида жинка мила,
А у мене ни хатинки,
Нема счастья, нема жинки.

Песенке этой научила его Оксана Васильевна.

Какие у нее роскошные волосы! Жаль, что все время собраны в узел, если распустить - будут ниже пояса. Ведьма. Русалка. А как она улыбается! Просто праздник, а не улыбка. Сердце расцветает и готово выпрыгнуть навстречу. Вот муж выбрал себе жену так жену: утром проснется, а на подушке рядом ее волосы разбросаны; откроет она глаза, улыбнется... А впрочем, он, идиот, небось и не замечает, какая у него жена красивая. Мужики все так устроены. Что имеем, не храним...

Проходя через собственную приемную, Самунин бросил секретарше:

- Здравствуй, Наталка! Як тобі живеться?

Та посмотрела на него с явным удивлением. Такого с начальством никогда не бывало.

- Як ся маэш? - проговорил он сам себе, усаживаясь за стол в своем кабинете.

Разобрал почту, полистал перекидной календарь, сказал в телефонную трубку той же секретарше:

- Люба моя дивчинко, соедини-ка меня для начала с трестом и вызови ко мне отдел снабжения.

Секретарша Наташа открыла дверь, молча, внимательно посмотрела на него и скрылась: она хотела удостовериться, все ли у него дома, - так надо было понимать ее взгляд.

«Не розумие вона української мови, - усмехнулся довольный Самунин. - Не розумие... Эх,

хорошая женщина... Жаль, что не увижу больше. Никогда...»

На летучке, услышав цифры выполнения по валу, Андрей Петрович проговорил сокрушенно:

- Це мени трошки шорсткувато.

Начальнику производства сухо сказал:

- Мабудь сподивився зробити щось хороше, але не вийшло?

Странно: ведь и до санатория, и в самом санатории он ни разу не пытался разговаривать на украинском. А теперь получалось нечаянно, да и хорошо так получалось: в каждой фразе слышался ее голос, словно сама она была тут же, рядом, или вот-вот войдет.

Ему приятно было произносить непривычные, но в общем-то понятные слова. Разве что в некоторых из них он сомневался: так ли понимает.

Дозвонился до стройучастка:

- Кучеренко! Ти українську мову розумиєш?

- А як же! Досить вільно, - тотчас ответил прораб Кучеренко.

- Что?

- Я говорю: достаточно свободно.

- Добре. А скажи мне, что такое - з великою цікавістю?

- С большим интересом, значит.

- Ага. А вот если: дуже важкий лист?

- Очень трудный. О письме, что ли?

- А шорсткувато?

- Да что тут непонятного, Андрей Петрович! Жестковато, значит. А в чем дело? Что это вы вдруг?..

Самунин улыбнулся в телефонную трубку:

- Ладно. Дякую. Давай нулевой цикл третьего корпуса к семнадцатому. Розумиешь? А не то будет тебе шорсткувато.

Вечером, сидя в любимом кресле, он опять рассеянно взялся за письмо. Его особенно занимало одно место...

«Розумиешь, Лесю, - писал влюбленный А., - я можу бути нижним, проте можу бути и злим. Правда, що злим я буваю вид якоись слухной цильком причини. Злою людина буває тоди, коли борється за щось справедливе и не хоче поступитись перед несправедливому. Отак я тлумачу це слово, в такому аспекти воно цильком характеризу мене».

Эге! Да он не без хитрости - этот А.! Смотрите, как он не стесняется всячески набить себе цену. Нет, он отнюдь не лишен самохвальства! Он, видите ли, за справедливость! Он, видите ли, не хочет поступиться... Вон какой он хороший! Погляди на него, Леся, полюбуйся и восхитись. Ты должна, ты просто обязана его полюбить.

«За таке свое прагнення до справедливости я був жорстоко наказаний богато разив. Вся моя «бида» в тому, що я николи не можу простити несправедливість навіть близький, любимий

людини... Я не вильний поступатися, коли впевнений у своей правоти. А зараз перший раз у житии я поступлюся, тильки заради нашей любви. А знаешь, як важко зраджувати принципам. Я буду даже радий, коли ты зможеш при нашей зустричи довести мени мою неправоту, тоди мени не буде так важко...»

Прочитав это место, Андрей Петрович отложил письмо. Почему-то вспомнил, как однажды стал случайным свидетелем такой сцены: парень удерживал девушку за руку, а та вырывалась, отворачивалась, хмурилась. Он же говорил ей настойчиво и с мольбой: «Ну что я тебе сделал? Может, обидел чем? Ты скажи. Я для тебя на все готов. Ну скажи, на что ты сердишься? Не уходи, я прошу тебя...»

«Не уговаривай, - чуть не сказал ему тогда Самунин. - Ни на что она не рассердилась, просто не любит. Отпусти ее, потому как все равно не удержишь».

И верно, девушка вырвалась и ушла. А в нем, постороннем человеке, долго потом звучал этот страдающий голос: «Ну скажи, что я тебе сделал?» Не та ли мольба исторгается из груди этого А.?

«Перший раз у житии я поступлюся, тильки заради нашей любви...»

- Ах, черт возьми! - повторил Андрей Петрович. - «Заради любви». Какая у тебя любовь! Кукарекает... молодой петушок. Ни голоса, ни силы. Пишет... бумага терпит.

Самунину пришла вдруг в голову дикая мысль: ведь и он мог бы написать письмо... На украинском языке... Оксане Васильевне. «Люба моя! Я сподивився зробити щось хороше, але не вийшло...» Но он тут же нахмурился, помотал головой, словно зубная боль пронзила его.

«Чтоб я и... написал! - он усмехнулся. - Вот бы удивилась она! Да... А в общем, возможно. Технически исполнимо, - он опять усмехнулся. - На украинском языке... Ах ты, черт возьми!»

Он уже знал письмо к Лесе почти наизусть и мог читать его по памяти, особенно конец: «Ще хочу тобі сказати, що страшенно не люблю говорити про любов... Писати - инше руч. Просто я вважаю, що та людина, яка дуже багато при зустрічі розповідає про свою любов... не здатна по-справжньому кохати. Не крепкуй, але подумай».

Самунин опять встал с кресла, долго расхаживал по комнате.

- Аня! - крикнул он в другую комнату. - Я тебе писал когда-нибудь письма?

- Ты? Никогда, - уверенно отозвалась жена.

- Смотри ты... Не может быть!

- Ты только телеграммы отбивал: «Приезжаю такого-то числа» или «Доехал благополучно». И все.

- М-да?... Смотри ты...

Андрей Петрович сам удивился этим сведениям и погрузился в длительное раздумье.

- А парень правильно написал... Как там у него? Нука. «Не здатна по-справжньому кохати». Не здатна, коли та людина много распинается. Тут он прав, тут он прав...

Или нет?

Не давало ему покоя это письмо! Он о чем-то все размышлял, улыбался, сердился, покачивал головой, пожимал плечами, хмурил брови.

А ночью впросонках, пригребая хозяйской рукой худенькое тело жены, он бормотал:

- Люба моя...

- Что ты, Андрюш... - встрепенулась Аня, непривычная к такой ласке, к таким словам.

- Трошки шорсткувато, - шептал Самунин, засыпая. - А все инше... залежить вид нас обох.

Жена напряженно вслушивалась в этот шепот, не зная, то ли радоваться ей, то ли тревожиться.

- Дуже важкий лист, - вздохнул муж, уже сонный.

1979г.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОГНЯ

ПОВЕСТЬ

- 1 -

Если сесть в Новгороде на самолёт местной авиалинии, то при попутном ветре примерно через час можно оказаться в небольшом районном городке. Оттуда на рейсовом автобусе по грейдерному большаку приедешь в большое и славное село, центр передового в здешних местах хозяйства. Если отсюда шагать час или полтора по затравевшему проселку в знаемую сторону, то окажешься на небольшой возвышенности, с которой широко распахнутся дали; невольно остановишься, пораженный открывшимся видом, и будешь стоять долго, позабыв об усталости.

Слегка всхолмленная равнина как бы прогнулась, словно показывая себя всю разом. На ней угадываются и прихотливое русло речки, обозначенное зарослями кустарника, и этот самый просёлок, и паутинка линии электропередачи, и поля, разделенные листовыми перелесками... а над всем этим в любую пору года торжественно стоят небеса.

Отчего так радостно сердцу, когда смотришь отсюда? Отчего оно начинает биться, как в самые счастливые минуты твоей жизни? Не от вида ли

простора, когда с совершенной ясностью понимаешь, сколь прекрасна земля? Уже просыпаются дерзкие помыслы, когда так завидуешь птицам! - те помыслы, что живут в тебе потаённо, не имея возможности сбыться.

Но нет, не от того занимается дух - мало ли на свете мест, где взор твой охватит и ещё большие пространства! Край этот несёт приметы истинно русской земли, и чувство сыновней привязанности тотчас просыпается в тебе, даже если и стоишь тут впервые.

Эта земля не раз страдала от великих социальных потрясений, именуемых революциями, от моровых поветрий, от нашествий чужеземцев - после каждого такого несчастья она дичала, пустела, а продолжалось это иной раз долго, и год и десятилетия. Сейчас здесь именно такая пора - запустенье, безвременье, разоренье.

Впрежние-то годы, уже отдалённые от нынешнего дня, с этого холма, по вечерам или ранним утром можно было слышать: вот скрипит ворот колодца в Парахине, и бабы там разговаривают громко - можно расслышать отдельные слова или целые суждения; вот в Суховеркове пастух хлопает кнутом, гоня стадо; вот стучат топоры в маленькой и такой уютной деревушке с названием Палисадники - должно быть, что-то строится в ней - изба или скотный двор, или сарай; а вот праздная балалаечка тренькает - то ли в

Тёсовой Горе, то ли в Архипке.

Так было прежде. Нынче же с этой огромной, просторной равнины не доносится никаких звуков. Селения призраками растворились в тумане ли утра, в знойной ли дымке дня. Лишь совсем неподалёку близ березовой рощи видна молчаливая деревня с милым именем - Рябинки.

В ней осталось восемь домов, но в долгие осенние или зимние вечера, в черные непроглядные ночи, когда сечёт бесконечный дождь или стекленеет от крепкого мороза воздух, дома в Рябинках глухи и слепы; деревня мертва, и потому даже дикие звери - кабаны, лоси, зайцы, лисы - без опаски заходят в неё.

Однако же в одном из домов каждый вечер загорается свет - его зажигает единственная жительница Рябинок, которая делает деревню всё-таки обитаемой, - глубоко пожилая женщина Александра Филипповна Овечкина.

- 2 -

Тишина деревни Рябинки иногда оглашается вдруг нарастающим рокотом мотора, в деревню врывается трактор, и эхо отдаётся от пустующих домов. Если едет Володя Семиженов, сухопольский парень, дальний родственник Александры, он непременно остановится возле ее избы, постучит в окно:

- Баб Саша! Эгей!

Александра ему из окна или с крыльца:

- Ау!

- Как ты тут?

- Ещё жива.

- Это хорошо, - скажет Володя, знаменитый тем, что фамилию свою везде пишет не иначе как через черточку: Семи-Женов. Пора бы ему хотя б одну жену завести, но припозднился с этим делом, ещё не женат.

В Сухом Поле есть магазин, потому она иногда наказывает Володе, привезти ей то сахару, то чаю, то соли, то ещё что-нибудь из необходимого. А он парень безотказный, сам предлагает:

- Чего надо? Завтра мимо буду ехать.

- Здоровья бы надо, милой. Нет ли у вас в магазине?

- Как не быть! На рубль сколько хочешь.

Он всегда весел, этот Володя, парень незадумчивый, легкий; в любой компании нальют ему вина - не пьёт: «А зачем? Я и так веселый». Его считают за это чуть ли не дурачком, и он про то знает - только смеется, не обижается. Он умней всех, Володя-то!

Иногда зайдёт к ней в избу, она его угощает молоком. Он спрашивает.

- Баб Саш, а помнишь, ты в праздник у Капитолины Сунжиной гостила, так пела «Течет речка по песочку...», про солдата, который просился

домой, а зазноба по нем больно скучилась да больно смучилась.

- Помню. Ну так что?

- Хорошая песня!

- Знамо, хорошая. Еще бы плохая!

- Ну, спой мне ее, а? Спой, баб Саш. Я ее запомнить хочу.

- Отчего не спеть, спою. А только я тебе нынче другую, пока не забыла, пока в памяти держу... Вот слушай.

*Шел парнишка бережком,
Шел парнишка крутеньким,
Перехода не нашел...
Нашел парень жердочку,
Нашел парень сухоньку,
Перебросил сам да пошел.*

- Это про меня, - тотчас оживился Володя.

Голос у нее уже старческий, чуть-чуть с дребезжанием, не поет - словно говорит, но уж очень доверительно, задушевно. Ах, когда-то она и вовсе славно певала, да ведь Володя того не знает!

Кошка слушает их, пошевеливая хвостом. Должно быть, она подпевает хозяйке, но беззвучно: даже мяукать не может: простудилась когда-то бедняга, пропал голос.

*- Поджидала девица,
Да в высоком тереме
Свойво милого дружка.
Захотелось девице
Видеть друга милого -
Да с крутого бережка.*

- Ну, точно, про меня! - дивился Володя.

Такое живое участие к происходящему в песне подогрело исполнительницу, и она продолжала все уверенней - о том, как брала девица коромысло новое, ведерца дубовые и шла к быстрой речке, где и произошло несчастье:

*Жердочка сломилась,
Шопочка свалилась,
Тут парнишка утонул...
Увидала девица,
Увидала красная
Только шопочку одну...*

Александра именно так и пела - *шопочка*, а не *шапочка*, и была в этом своя правда, своя прелесть.

Володя протестующе хмурился и головой мотал: он, мол, не из тех женихов, что с жердочки сваливаются, а из тех, что выстроят мост на тысячу верст! Так надо было понимать его протест.

Как горевала, как убивалась красна девица! Не было горю ее исхода, слезам конца. Белый свет не мил, и сама жизнь не мила. И чем больше она горевала, тем больше светлели лица гостя и хозяйки.

Хозяйка пела, а гость слушал: оба вкладывали в песню свой смысл, у каждого по-своему, однако созвучно, согласно у обоих. То, что выговаривала Александра, и то, что ловили уши Володи, было одно, но на уме и на сердце у старухи и парня рождалось другое - тем и хороша была эта нехитрая песня. К концу ее исполнительница все больше и больше оживлялась. Лицо ее, все еще серьезное и даже хмурое, румяnelo, а помолодевшие глаза блестели.

*Зарастай-ка, реченька,
Зарастай-ка, быстрая,
Оба крутых бережка.
Забывай-ка, девица,
Забывай, красавица.
Свойво милого дружка*

Странно, однако горестные эти события, о которых повествовалось в песне, не повергали Володю в печаль, да и саму хозяйку тоже. Скорее напротив, у обоих был этакий мечтательный вид, словно рассказывалось в песне вовсе не о смерти, не о разлуке, не о горе, а о самом заветном.

- Ну, баб Саш, - сокрушенно качал головой Володя, когда та замолчала, - тебе на телевидение надо:

хорошо поешь! Как говорится, в полном согласии со своей творческой индивидуальностью. А главное: они там таких песен не знают!

- Ты послушал бы, как мы, бывало, с Анной Саввишной пели! То-то мастерица была! Мы с ней как сядем да на два голоса...

- Слушай, баб Саш! Я тебя на свадьбу свою приглашу! Вот как уговорю свою девицу-красавицу насчет пожениться да как закачу свадьбу, ты обязательно приходи.

Она вздохнула:

- Мне ли теперь на свадьбах гулять! Да и что ж я одна-то буду петь...

- Со мной! Ты и я, ладно? На два голоса: ты на толстый, я на тонкий.

- На свадьбе надо веселые да величальные петь, а не эту. Моя-то не годится, больно грустна.

И уже проведив Володю, рассуждала вслух:

- И что это все песни с печалью да со слезами! Вот хоть бы как по Дону гуляет казак молодой... Или эту взять: на Муромской дорожке стояли три сосны... Или: там, в степи глухой, замерзал ящик... Или...

Она перебрала в памяти еще десятка два песен, и все были как на подбор, - в каждой по несчастью: то удалой молодец молодую вдову прибил до смерти, то персидскую княжну в Волге утопили, то выдают замуж девицу за нелюбимого... Смерть да разлука, горе да печаль.

- Жизнь, что ли, горька, что мы такие поем? - продолжала она размышлять. - И какая от них утеха? А вот поди ж ты...

- 3 -

Раз в месяц единственная жительница Рябинок встает пораньше, одевается понарядней, словно на праздник или в гости, и отправляется в Сухое Поле - получать пенсию. Перед тем, как выйти из дома, наведается к корове, к овцам, курам - всем задаст корму... Кошка увяжется идти за нею следом, но хозяйка пристрожит её, и та отстанет.

Александра медленно поднимается на холм, а поднявшись, обернётся назад, опираясь рукой на ствол знакомого придорожного дубка; окна рябиновских домов сиротливо смотрят на неё: надолго ли, мол, уходишь? не покинь нас, а то совсем осиротеет.

Отдохнув, она идет дальше уже без дороги, напрямик: по кочковатому, закустаренному лугу, потом полевой межой, потом травянистой канавой...

В зимнюю пору дорога до Сухого Поля занимает гораздо больше времени. Александра берёт тогда с собой палку, чтоб ощупывать снег в тех местах, где есть опаска, что угодишь в яму. Но если она не приходит, то письма и пенсию приносит ей мальчик Боря, сын сухопольской почтальонки Маруси.

Он прибегает на лыжах - невысокого росточка,

в самодельном, очень ловко перешитом из чего-то полушубочке нараспашку, румяный, шумно дышащий. Александра достает ему из печи что-нибудь горяченького; Боря застенчиво отказывается, но хозяйка знает подход: его надо почти насильно усадить за стол, даже пристрожить, если он заупрямится; вот тогда-то он и покажет, на что способен крепенький паренёк, - перед горшком томлёной рисовой каши да перед криночкой топлёного же молока с пенкой. Пока он управляется с тем и с другим, хозяйка идёт в сенник за яблоками: по осени насовала антоновку в сено, где та и дозревает, набирает вкус и дух - зимой они куда как хороши! Вот этих яблок и приносит она застенчивому Боре.

Как радостно видеть ей этого паренька у себя в избе! Так и кажется, примчался один из её внуков, Толя, или Витя, или Славочка. Но нет, внуки слишком далеко, привозили их позапрошлым летом. Когда теперь их ждать?

Почему-то именно о внуках любит она вспоминать, шагая в Сухое Поле, пока бредёт по кочковатому лугу, да межой, да канавой.

Наконец, она достигает желанной цели своего путешествия. После недельного безлюдья и тишины странно ей видеть оживлённую деревенскую улицу, слышать людские голоса и рокот машин; на крыльце правления покуривают механизаторы, на стене клуба белеет лист бумаги - кино нынче, две девчонки катят

на велосипедах, пилорама звонко поёт...

На почте её ждут два-три письма - от сыновей или от дочки, но чаще от внучат, которых у неё четверо, правда один ещё мал, писать не умеет, только рисовать. Есть ещё внучка Соня, но та что-то не любит письма писать.

Марусе отдаёт она заготовленные за неделю послания сыновьям и дочкам и деткам их тоже. Послания эти полны наказов и советов, а ещё грамматических ошибок, которые, она знает, приводят её внуков-школьников в совершенный восторг.

Главное сделано, теперь можно отправиться и к магазину, повидаться со знакомыми людьми. Надо же и отдохнуть перед обратной дорогой на крыльце магазинном. Письма, пришедшие издалека, лежат у неё за пазухой и греют сердце. Читать их она будет вслух нынче вечером своей кошке, неторопливо, останавливаясь на каждой строчке и растолковывая беспонятной животинке самые незамысловатые места.

С Александрой здороваются приветливей, чем с кем бы то ни было; над нею и пошучивают охотнее, чем над кем бы то ни было; все ей улыбаются, все рады и довольны, что она пришла.

- Тётъ Саш! - кричит Володя Семиженов, проезжая мимо на самосвале или тракторе. - Как там у тебя в Рябинках? Какие новости?

Она отвечает с полной серьёзностью:

- Железную дорогу к нам ведут, аэродром строят, метро скоро будет.

- А театр оперы и балета?

- Будет и театр без билета. Без этого нельзя.

Пришла с убогонькой внучкой своей богомольная Вера Сорокина и с нею приживалка Маня...

- Саш, не скучаешь там одна-то?

- Ну вот ещё! У меня там повадно: полон двор скотины, а в избе кошка мяучит - всё живые души.

- А то перебирайся к нам, давно зову. Будем вместе куковать, всё веселей!

- Когда мне скучать, Вера! Наоборот, поубавить бы маленько повады-то: скотина во дворе, кошка под боком мурлычет... Иной раз всхомянусь: ить, пост, а у меня радио поёт, в телевизоре танцы - они там постов не блюдут, и я, раз гляжу на них, тоже грешу... Для меня одной целую линию электрическую держат.

Тут она маленько приукрашивает своё положение: нет, не ради нее через лес и поле, через деревню Рябинки тянется линия электропередачи - на то есть какая-то хозяйственная необходимость.

- В девках мы были поскромнее, Бога боялись, - строго скажет Вера под красноречивый вздох своей приживалки. - А теперь ничего не боимся, ни Бога, ни стыда.

Пришла Кланыя Фёклина, по прозвищу Пролетарка, тоже уселась в рядок, усмехнулась:

- Что, Саша, так и панствуешь в своих Рябинках?

Сама себе госпожа?

- Что говорить! Я теперь там царица. Никто мне не поперечит.

Заявилась Капа Сунжина, ровесница, присела рядом поговорить о том о сём.

- Не боишься ты там, в своей деревне, Саш?

- Чего бояться-то?

- Ну как же! Одна... Мало ли чего!

- Ладно бы девка я была или баба молодая. Так ведь нет! Веришь ли, никогда и в голову не придёт, чтобы бояться.

Это верно, страха она не испытывала никогда: надо ли было вынести в темный двор пойло корове - выносила без боязни; надо ли было поздно вечером выйти в сени или взять что-нибудь с чердака - выходила в сени и лезла на чердак. И никогда не посещала ее никакая опасливая мысль, что вот-де кто-то неведомый схватит, куда-то потащит - страх, столь знакомый ей в девчонках. Должно быть, такая боязливость свойственна только молодости. Александра чувствовала весь свой дом, его пустоту и гулкость, и появившись в нем кто-то еще, она не видя и не слыша, тотчас безошибочно угадала бы его присутствие даже за стеной.

А выходя поздно ночью на улицу и глядя на свою деревню, состоящую сплошь из молчаливых домов с темными глазницами окон, в которых не было живого огня, она опять-таки не испытывала боязни, а лишь

глубокую печаль. Печаль, и только!

Вот так-то, дорогие подруги...

- А если грабители? - нерешительно предположили те.

- Что у меня грабить-то! Корову, что ль, уведут? Так она, поди-ка, еще и не дастся, Мотя-то моя. Она забодает любого. А хрусталеи да золота у меня нет.

- Поди-ка, у каждого есть что взять, - не соглашается Кланька Пролетарка с таким убеждением, словно она сама всю жизнь только тем и занималась, что воровала.

- А я иной раз думаю: хоть бы кто забрался ко мне да уволок мой хлам, - говорит Александра, заведомо зная, что есть, есть чем поживиться у нее в доме вораи да грабителям.

Вон и телевизор, и транзисторный приемник, и две старые иконы. Да и в сундуке, если порыться, кое-что найдёшь.

Прежде всего вот из-за этих минут живого общения с людьми она и одолевает не ближний и нелегкий для нее путь, из-за них ей трудно отказаться от хождения в Сухое Поле, из тишины в людное место, которое кажется ей и веселым, и даже чересчур шумным.

Навидавшись со всеми и наговорившись, обитательница Рябинок отправляется в обратный путь, провожаемая добрыми напутствиями.

Она достигает холма, с которого видит свою

деревню из восьми молчаливых домов, которые, как ей кажется, смотрят на нее в радостном ожидании, как заблудшие овцы на отыскавшего их пастуха.

- Ах вы, мои милые! - говорит она вслух. - Ах вы, мои родные! Что, соскучились? Испугались, что бросила вас старуха! Без меня вы совсем запустели бы. А я вот иду. Иду, иду!

И, спускаясь с холма, шагает так, словно и не устала вовсе, одолевши не ближний путь. Ей действительно становилось легко и даже весело или, по ее собственному выражению, повадно.

- 4 -

В сумерках она непременно выйдет на улицу постоять возле угла своего дома - это стояние теперь заменяет ей то, что раньше называлось «посижу у Крестовниковых» или «пойду к Саввишне - посумерничаем», оно стало давно уже привычным ей, без него день не в день и ночь не в ночь. Александра так и говорит себе: пойду постою. Есть в этой ее привычке что-то сиротское, горькое, но и притягательное.

Она спускается с крыльца и останавливается как раз там, где со вчерашнего вечера сохранились следы ее калош, а других следов поблизости нет. Долго смотрит Александра в даль деревенской улицы в одну сторону, потом так же долго в другую, чаще всего бесцельно и почти бездумно. Иногда что-то привлечет

ее внимание - резко прокаркает пролетевшая ворона, взвихрит ветер палую листву, стукнет или скрипнет вдруг что-то в соседних домах - она проследит глазами тяжелый полет вороны, повернется на неожиданный всхлип соседских ворот, но не тревога, нет, сквозит в ее взгляде - ожидание неведомо чего.

Как печальна деревня в эти осенние мозглые вечера! Все увяло, все умерло и, кажется, никогда уже не воскреснет к жизни. Нет в году более унылого времени, чем теперь: дни коротки, небо низко, дожди назойливы, деревья сиротливо голы, свист ветра в их ветвях гнетет душу.

Лицо одинокой жительницы Рябинок в эти минуты было почти неживо, только глаза изредка моргали, но взгляд этих глаз столь же отрешен и сам по себе как бы неживой.

Когда-то она была, пожалуй, первой красавицей в округе, да этого уж не помнит никто, и ей совсем не досадно на короткую память людей. Пожила, слава богу, чего о пустом жалеть! А только верно, видная была девка: и статная, и лицом пригожа, и певунья. Мать говорила: красота - Божье благословенье, а только не родись, дочка, красивой, а родись счастливой.

Родительский дом стоял на краю Рябинок, теперь от него не осталось даже пачины. Ныне здесь лежит только камень-валун, неизвестно как появившийся, лежит как надгробье на могиле некогда бывшего человеческого жилья.

А в дом, в котором она теперь живет, Александра была взята за Василия Овечкина, в нем выросли их дети, в нем и сам он умер, Вася, пришедший с войны калеченый да больной.

Этот дом строили, когда Александра была девчонкой Сашей. Она помнила, как удивлял ее среди потемневших деревенских изб свежий, янтарно-желтый сруб... и груды бревен возле него, опять-таки янтарно-желтых... и россыпи белой щепы, и кучи опилок, которые остро пахли и были телесно-теплы - в них Саша с Васюткой Овечиным играли... Четверо дюжих плотников сноровисто, неторопливо ставили дом; они были такие сильные, в рубахах распоясками, мясистые ладони их темнели пятнами смолы... Они пришли откуда-то издалека и казались Саше вдвое сильнее рябинковских мужиков, белозубее, выше ростом. Какой веселый, бодрый стук стоял, когда строили эту избу!

После того уж не строилось жильё в Рябинках, деревня медленно старела, пока вот теперь не состарилась вовсе. Сколько всяческих событий, больших и маленьких, произошло в ней за это время! Сколько судеб людских улеглось? Какая жизнь отшумела!словно ярмарка... Теперь вот и не верится даже, что все это было. Не гуляют по деревенской улице петухи в окружении кур, не блеют овцы, не выходит никто к тем двум колодцам, что стоят в одном и другом конце деревни; не выбежит собака или

кошка. Разве что пролетит и каркнет ворона, хлопнет ветер оторванной доской карниза или скрипнет, опять-таки от ветра, створка ворот, и снова пусто и немо в Рябинках, только холодный ветер шуршит по стенам, по опавшей листве; крылечки, тропинки листвой замечает - никто, кроме ветра, ее не ворошит, и никому она не мешает. Как в лесу.

Но Александра видит и слышит иначе: деревня, по её убеждению и ощущению, полна жизни, следовательно, и звуков, и движения. Прежде всего в её собственном доме, во дворе, вздыхает и жуёт жвачку корова Мотя; и кошка есть в её избе, которую так и зовут - Кошка; и петух - уж какой красавец петух, хоть по телевизору показывай! - и восемь куриц при нём; а ещё держит Александра двух ярок - одна уж должна объгниться в феврале, а вторая вроде бы яловая, ну да бог с ней!

Но разве только в её доме жизнь! Вот голуби воркуют на чердаке Савишны; в прошлом году прилетела стая одичавших голубей да и прижилась. Царство небесное Анне Савишне! На свадьбе у Александры была Анюта в подневестницах... На свадьбе той и приглядел её Кузьма Савельев, стала и она вскоре под венец. Мужья дружили между собой, дети появились у обеих словно по сговору. С любой бедой, с любой радостью ходили подруги одна к другой, словно сёстры... Не её ли душа воркует на чердаке? Коли есть она, душа, то где ж ей быть, как не

в этом доме! Здесь она, Саввишна, здесь...

Вон воробьи порхнули в разбитое кухонное окно Крестовниковых. Говорила им летом: вставьте стекло. Да Володя - такой красивый, обходительный стал парень! - только смеялся: воздух, мол, свежее. Надо бы загородить или заткнуть чем-то окошко, да Александра боится запереть в избе ни в чём не повинных воробьёв. Пусть уж будет так, большой беды не сделают. Ничего там ценного нет, в избе Крестовниковых, одни стены. Однажды приехал Володя с семьёй на своей машине с прицепом, привёз матрасы, подушки надувные, одеяла, да и прожили полный июль - хорошая, дружная семья, только слишком городская. Кто бы мог подумать, что из Володи-голопузика, телячьего пастуха, со временем выйдет такой представительный, такой толковый мужчина! Говорят, работает большим начальником, сидит в президиумах.

Вот так, не гляди, что домишко-то Крестовниковых самый плохонький среди всех прочих.

А воробьям вольготно в Рябинках; они летают с поля целыми стаями. От их чириканья иной раз не слышно Александре собственного голоса - вот как шумно бывает в деревне!

Мальчишки Виноградовы устроили у себя над крышей жестяную игрушку - самолёт с четырьмя пропеллерами: он всё время летит против ветра:

четыре пропеллера яростно крутятся от малейшего дуновения воздуха, и звук получается как у настоящего самолёта. Славные паренёчки Веня и Серёжа Виноградовы... Отцу-то хотелось отдать их обоим в суворовское училище, да вот что-то не вышло. Сам военный, полковник, хочет, чтоб и сыновья тоже в офицеры вышли. Да только они больше ко всякому рукоделью тянутся, все лето что-нибудь да мастеряют. Вон какой веселый самолёт сделали! Так и гудит, так хвостом-то и водит.

А если спуститься по тропинке между огородами Французовых и Луховых, то тут на иной лад песню услышишь: маленькая речка Вырица впадает в большую реку недалеко от Сухого Поля, а возле Рябинок она выточила себе уступ, с которого и падает теперь с немалым шумом. Летом она говорлива и бойка, голос у неё громкий, звонкий - девичий; а осенью шумит и бурлит вода, взбивая желтую пену, и голос утробней, солидней, глуше.

Также стаей, не меньше двух десятков разом, прилетают из ближних перелесков дрозды. Эти уже освоились в Рябинках, бывают здесь часто, но не задерживаются надолго: деревня хоть и называется так, но рябин-то в ней, столь любимых дроздами, нет. Березы и тополя, вётлы и клёны, даже яблонь много, а вот рябин - ни одной. У Сомлеевых возле двора стояли две сестрички, обе старые, да засохли отчего-то в прошлом году. От морозу, что ли, зима была суровая.

Да нет, скорей всего оттого, что невестка Сомлеевых, красивая, но беспокойная и куда как заносчивая женщина, выливала под рябины помой да мыльную воду. Александра однажды сказала ей: засохнут, мол, дерева от обиды такой. Так не понравилось! Губы поджала, взглядом срезала, задом вертанула - спасибо, хоть не обругала.

Всё она делала со зла, броском да кидком, та красивая и очень молодая женщина, привезённая старшим сыном Сомлеевых, Виктором, откуда-то с юга; она так и не прижилась тут, уманила мужа-шофера на свою родину. А погубленные рябины вот и стоят сухие.

Каждый оставляет свой след на земле; один, где ни ступит, дерево посадит, другой то дерево погубит.

- 5 -

Но не легкие тени живых воспоминаний скользили перед её отстранённым взглядом, пока стояла она возле угла дома в своей обычной позе, чуть ссутулившись, сунув руки в рукава любимой ею ватной фуфайки - чаще всего некая онемелость души охватывает Александру, минувшее уже не грело, не утешало, уже не играло перед нею, а было безжизненно, неодошевлённо. Разрушилась некая связь, питавшая старую женщину жизненной силой, повергая в пустоту. Сознание мёртвенности прошлого

должно было пугать Александру, но, увы, не пугало, и это было, пожалуй, самое печальное.

Приступы душевного омертвления или усыпления случались у Александры всё чаще и чаще и именно во время её стояний при виде всеми брошенной деревни.

В эти минуты она ясно понимала, что умирает, что умирание началось и его не остановить, и к этому оставалась безучастна. Смерть приближалась к ней исподволь, не спеша, в сознании собственного всемогущества и отсекала жизненные корешки своей жертвы, при этом, должно быть, выжидательно смотрела ей в глаза: как она? что она?

Вот отсечёт корешок, питающий Александру солнечным светом, птичьим пением, шелестом ветра в листве, - и уж не порадуетя она им, не в состоянии будет принимать душой своей красоту окружающего мира.

И не отзовется сердце при воспоминании... хотя бы о том, как ходили они с Василием летом по ночам купаться в Вырице - то было в пору их молодой совместной жизни... Не порадуетя и воспоминанию о чубатом суховерковском гармонисте Пашке, что провожал её, отбив у Васи Овечкина, тогда ещё не мужа, а просто ухажёра... Не порадуетя и той сказочной ночи, проведённой в одиночестве на сеновале, когда сияли зарницы, и она, семнадцатилетняя, плакала неутешно незнамо отчего,

просто так, от некоего щемящего радостного чувства, просыпавшегося в ней. Омертвевает и этот корешок.

И коль прозвучат в её ушах голоса внучат - Славочки, Толика, Вити, Сони, - то и тут не тронет улыбка ее губы, холодно будет на душе...

В больницах доктора делают операцию - сначала усыпляют, а потом режь бесчувственное тело... Так поступает и смерть: она берёт человека, загодя усыпляя милосердно, чтоб ничего не жалел на этом свете, чтоб уходил безболно.

Что же касается её, Александры, то смерть ещё подождёт, она не летит к ней на крыльях, а плетётся, милосердная и незлобивая, издалека, с клюкой, покряхтывая, она не скоро одолеет то пространство, которое разделяет их. У неё, Александры, есть время порадоваться напоследок и проститься со всеми: ещё не ночь для неё и, может быть, даже не поздний вечер. Овладевают же ею иногда стихия совершенной наполненности жизнью, когда хозяйка Рябинок чувствует, что живёт полнокровно, и более того - она счастлива, жизнь ещё щедра к ней.

Недавно она увидела мудрёный сон, в котором ей представилось со всей ясностью, что сама она, единственная жительница Рябинок, стала как эта деревня, то есть в ней непостижимым образом давно поселились и живут-поживают знакомые и незнакомые люди, виданные и невиданные звери, веют ветры и ходят облака. В ней стучат

топоры, щебечут птицы, мычит скотина, раздаются человеческие голоса. Приехал Володя Крестовников и устраивается в своём доме всей дружной семьёй, расставляет надувную мебель; и другой Володя весело командует семи жёнами, похожими одна на другую и в то же время на молоденькую учительницу Катю; и шустрая Анна Саввишна, вовсе не покойная, а живая, управляет по хозяйству в своём доме: и Митряха Егоров с женой и дочерьми копают огород; и столпились бабы возле колодца, судачат вперебой; и пастух выгоняет стадо - большое стадо; и все-все, кого ни возьми, все в ней. Расселились по деревне, одни ближе к её сердцу, другие дальше.

Она ясно видела в том сне, как уселись за праздничный стол Василий Павлыч в чистой рубахе, ласково улыбающийся, и дочка Шурочка со своим мужем, и сыновья - Анатолий да Юрий с женами. Сыновья, как братья-близнецы, одного возраста, а дочка - словно сама она, Александра, в двадцать лет... и ребятишки их уселись в рядок. Сидят они все словно бы в горнице, а в ней светло, ясно. За окнами петух горланит, где-то жаворонки заливаются, и листва шелестит...

Вот такой удивительный сон.

- 6 -

Вдруг, подобно тому, как рябь набегаёт на

спокойное, неподвижное лоно воды, мгновенно оживает лицо старой женщины Александры, и вся ее фигура приходит в движение, взгляд обретает осмысленность: откуда-то со двора неслышно подбежала к ней кошка и ткнулась в ноги, беззвучно разевая рот, - не мяучит, только сипит.

- Кошк, это ты? - спрашивает хозяйка довольно строго. - Ну, что тебе? Нагулялась?

Кошка целыми днями шляется по деревне да и за околицей тоже, охотится на полевых мышей, ловит зазевавшихся воробьёв, даже рыбу таскает из Вырицы на мелководье - вольготно ей. Однако за день соскучится по хозяйке, вот и ластится, теперь уж во весь вечер не отойдёт.

Потеревшись об ноги хозяйки, кошка пошла по двору, осторожно ступая по палой листве и оглядываясь: что же, мол, ты? чего ждёшь?

Сумерки уже скрадывают деревенскую улицу, небо нависло ниже; Александра решительно поднимается на крыльцо, попутно говоря кошке по имени Кошка:

- Пойдём-пойдём, хватит сумерничать. Управляться пора, и то уж припозднилась я.

Управляться - это значит принести ведро воды, охапку дров, подоить корову.

Услышав её шаги, коротко взмывает во дворе Мотя.

- Ну что? Ишь, раскидала! - начинает Александра

выговаривать ещё с мостика. - Чем тебе не нравится? Лесное сено, хорошее. Мало ли что крупное! Небось, привыкай. Тебе бы только луговое! Невелика барыня.

Корова, как всегда, встречает её возле дверцы в загородке, разделяющей черный ход и стойло. Александра сует корове кусок хлеба, после чего считает себя вправе толкнуть Мотю в бок ладонью и сказать:

- Ну-ка, подвинься! Ишь, поперёк себя шире, словно бензовоз. Четверых, что ли, хочешь родить!

Мотя вальяжно идет к яслям.

- Сколько сена в навоз стоптала! - ворчит Александра. - Где я тебе корму напасусь, коли ты так! Бесстыдница.

Мотя мотает головой и отмахивается хвостом: я, мол, дрянного сена есть не стану, говори, что хошь.

Отношения хозяйки и коровы таковы, что взаимные обиды случаются у них крайне редко; обе бывают сердиты, но обе и отходчивы.

- Вот глянь-ка, я тебе какого сенца кладу в ясли: с мятой, с донником - мед, а не сено, - говорит Александра минуту спустя самым ласковым голосом. - Чтоб у меня все съела, до сенины!

Разговор с Мотей продолжается и во все время доения. Так и слышно: шум молочной струи во взбитую пену, вздохи Моти и голос Александры:

- Слышь-ко, с Митряхой-то Егоровым, что уехал из наших Рябинок в Кимры, какое несчастье

случилось...

Корова оглядывается, похрупывая сеном: не тот ли это Митряха, что жил напротив в одном доме с бычком почти красной масти и с белыми ногами? У того бычка были удивительно глупые глаза с длинными ресницами, и в трехмесячном возрасте у него стал прорываться почти взрослый мык. Мотя тогда была чуть постарше его, на месяц или полтора, и их привязывали на выгоне почти рядом. Он очень скучал по ней, тот красношерстный бычок, если ее не было рядом, и отчаянно упирался всеми четырьмя ногами, когда их разводили по дворам.

- Дом у него, говорят, был пятистенник, - продолжала Александра, - да с верандой, и вот в одночасье сгорел. От электричества. Уж так жалел он дом, Митряха-то! Ить, сам его строил, и вот на тебе...

«Куда делся тот бычок?» - с грустью думала Мотя, не слушая её.

- Месяц в больнице лежал, нога, вишь, разболелась с расстройства-то. Он ить с фронта на костылях вернулся, больной совсем. Однако хозяин! Теперь, бают, другой дом хочет купить, но только все равно прежний жалеет... Вот како несчастье! Вертался бы назад, в Рябинки. Нынче вон занимай хоть три огорода. А покосов сколько пропадает! То ли не жить! О-хо-хо...

Две ярки бегают, толкают ветхую изгородь, блеют попеременно.

- Вот я вас! - покрикивает на них хозяйка, - подрядились, что ли, орать-то! Потерпите, ничо с вами не сделается. Ишь ты, занетерпелось им, будто сроду не жравши.

В ту минуту, когда Александра неторопливо, со спокойным достоинством удаляется в избу, все довольны: рогатая Мотя, облепившая вымя, зарылась мордой в ясли - однако пора ее в запуск, уж мало доит; овцы бойко хрумкают свежее сено, куры дробно клюют в кормушке зерно, и кошка по имени Кошка, беззвучно мяукая, сопровождает хозяйку в предвкушении лакомого парного молока.

- 7 -

В ноябре темнеет рано, часа в четыре уже темень. Неспешно хлопоча по хозяйству, Александра иногда на некоторое время замирает, прислушиваясь к тому, что творится на улице, и говорит вслух:

- Ишь ты! Ишь, чо вытворяет!

Ветер ломится в окна, вздрагивает вьюшка в трубе, что-то поскрипывает и побряхтывает там, во дворе, и дождь брызнет вдруг в стёкла окон, словно кинет кто-то с улицы горстями горох или хлестнёт мокрым веником.

Уж скорей бы зима!

К декабрю деревню занесёт снегом, и будет лежать он, чистый, нетронутый, возле крылечек и на

крылечках, возле колодцев, на дороге - везде, и не будет на этом белом снегу, покрывшем нахоженные места, ни одного человеческого следочка. Только возле дома Александры пролягут не шибко торные тропинки от крыльца к колодцу, и от крыльца ко двору и сеннику, да ещё возле угла дома будет вытоптан ею небольшой пятачок, окруженный следами кошковых лап. А если протянется реденькая стёжка вдоль деревни - иногда хозяйка Рябинок проходит по улице сторожевым дозором - то ненадолго: до следующего снегопада, до следующей метели.

Ещё одна неуверенная стёжка ляжет и будет возобновляться вновь и вновь: от её дома к погосту, да не к одной могиле, а ко всем - их обходит Александра гораздо чаще, нежели деревенскую улицу. Впрочем, одна могила задержит её надолго: Александра вступает за ограду, vareжкой разматывает мраморную плиту («Ах, молодцы робята! Какой хороший камень привезли, положили отцу на могилу. Вот бы и мне такой!..»), утаптывает снег вокруг неё, садится на скамеечку и сидит. Пока холод не проберёт до костей.

Нет, и зимой тоже плохо. Деревня утопает в снегах, сугробы подступают под самые окна; в избе холодно, во дворе Мотя заиндевелая стоит; к дровяной поленице не подобраться, к сенному стогу идешь проваливаясь выше колен...

Однажды прошлой зимой после страшной вьюги Александра и двери на улицу не смогла открыть:

забило снегом, а потом мороз ударил, снег словно цементом схватило. Так и жила бы, замурованная, до весны, да неделки через полторы наступила ростепель, с крыши закапало, стекла окон заплакали, глядь - уж и двери стало можно открывать. Вот так. А то уж испугалась.

Собственно, бояться-то особо нечего, с голоду в этом доме не помрёшь: и картошка в подполе, и капуста квашеная в кадке, и масло коровье топленое в горшке, и грибы сушёные - целый мешок, и брусника мочёная в кадке... да и курицу можно зарубить на худой-то конец. А только всё равно не по себе было: заперта, как в тюрьме, воли нет.

Нынче вот сил и вовсе стало мало, заметёт опять снегом, вот и будешь куковать. А если заболеешь? Воды стакана подать некому. А печь не истопишь - вовсе погибель.

Нет уж, лучше весна... Скорей бы весна! А до неё ещё дожить надо...

- 8 -

Весь долгий-долгий вечер был наполнен у Александры неторопливыми делами: она достала с печи теплые валенки, обула их, а те, в которых только что выходила во двор, поставила опять на печь, чтоб сохли и всегда были тёплыми; потом, тяжело шаркая, шла она на кухню и там неторопливо

процеживала молоко, плеснув при этом и кошке в черепок под столом; громыхала ухватами, заслонкой печи.

В деревянную лохань Александра наливала тёплой воды из чугуна, разминала в ней варёную картошку и хлебные корки, сыпала горстку грубой муки - готовила пойло корове. Лохань старая, пора бы новой обзавестись, да не делают нынче таких - ну да ладно, и эта послужит. Не понесёшь же в железном ведре: Мотя враз опрокинет. Однако деревянная лохань тяжела и сама по себе, и Александра с усилием вынесла её во двор. Мотя пила, шумно вздыхая, хозяйка стояла возле и журила её: не спеши, не отниму. Мотя выпила пойло и с усердием вылизала лохань, ещё раз шумно вздохнула.

- Ну, полно, полно, - уговаривала её Александра.
- Эко тяжко ей, ишь, вздыхает! Какие у тебя заботы! Ни печь топить, ни за водой ходить, ни к автолавке.

Тепло во дворе, покойно. Повадно.

Вот теперь, когда скотина сыта, можно и хозяйке ужинать.

Хотела ли есть она, не хотела ли, но так уж было ею заведено: в урочное время садилась за стол. Ужин её состоял из зеленых или белых щей с куском говядины величиной со спичечный коробок, жареной на сметане картошки или рисовой каши и кружки молока с куском ватрушки. Иногда эта трапеза разнообразилась баночкой рыбных консервов, а роль

острой приправы играл натёртый хрен из своего огорода. Ужинала Александра неторопливо, поучая кошку:

- Что ты на меня смотришь! - выговаривала она ей. - Что я ем, то и ты. Чем тебе щи не угодили? Мясо ей подавай, барыне такой! А вот я тебя!

Иногда такая беседа заканчивалась ссорой, хозяйка довольно пренебрежительно пихала кошку валенком в бок, и та обиженно прыгала на голбец, с голбца на печь. Чаще же всего кошка ублаготворённо жмурилась и сидела на лавке рядом.

После ужина Александра неторопливо убирала со стола, передвигала на полке и в самодельном шкафчике чашки и тарелки, выносила чугунок со щами в сени, там похолодней. Всё шло в полной согласованности со временем: медленные дела и медленное время.

- Ишь, у Матрёны Ондревы внучка в третий раз вышла замуж... Так уж, знать, вся порода такая. Матрёна-то бывало, тоже... Ну и Серафима в неё. Молодая ещё, а уж третьего мужа себе подыскала. И четвёртого, небось, найдёт. Какие её годы! Грех судить, а и хорошего сказать нечего...

Кошка слушала её, не переча, сочувственно.

Покончив с кухонными делами, выходила в переднюю и усаживалась за стол, брала лукошко с клубками шерстяных ниток, которые сама напряла. Но за вязанье бралась не сразу, а некоторое время

сидела просто так, положив руки на стол и уставя в них взгляд. Расцепит пальцы тёмных морщинистых рук, поколупает ноготь или старую мозоль, опять сцепит и сидит, смотрит на них.

- Шибко горюет Ванюшка-то Милославцев по Лидии, - сокрушённо сообщала она кошке. - Столько лет прошло, сам уж стал эва каким мужчиной. Директором школы, а всё не забудет свою первую. Не забывается, и всё тут. Валентина Власовна жалуется...

Кошка жмурила желтые глаза с узенькими щёлочками-зрачками и, казалось, тоже сокрушалась: в самом деле, непорядок это - пять лет прошло, как Ивана Алексеича бросила Лида, уехала куда-то за Урал; пора бы уж и забыть её, тем более, что снова женился, а он всё страдает, да так, что и люди замечают, и жене досада.

Вздыхнув, Александра бралась за вязанье: варежки или носки из шерсти от своих овец. Шевеля губами, считала петли, оглядываясь в тёмное окно, делилась с кошкой следующим рассуждением:

- Приехали кавказцы, шесть человек, строить в Сухом Поле склад... Почему чеченцы? Неуж своих каменщиков нет?

Кошка в ответ зевала: может и есть, да где они? А чеченцы-то вот как раз под рукой оказались, потому и нанял их председатель. А впрочем, чёрт их разберёт,

этих председателей, - так, должно быть, решала кошка и потягивалась сладко.

- 9 -

Поговорив таким образом, Александра доставала с божницы транзисторный радиоприёмник - подарок дочери, или включала стоявший на комодке телевизор - подарок сына. Она нажимала нужную клавишу или кнопку, в дом врывалась, вламывалась радостная бодрая музыка или песня, или просто голос говорящего человека. Кошка, задремавшая было возле хозяйки, вздрагивала, открывала глаза с расширившимися зрачками и вопросительно смотрела на неё. В общем-то они обе не любили шума, тишина была им привычней и созвучней душевному состоянию.

Александра, вздохнув, пресекала нездешние звуки и через минуту опять шевелила губами, разговаривая сама с собой или считая петли; иногда потихоньку начинала напевать. Кошка, заслышав пенье хозяйки, сворачивалась поуютней клубочком, шевелила хвостом, следила за Александрой щелочкой глаза.

Течёт речка по песочку

Бережочки сносит.

Солдат молод, солдат молод

Командира просит...

То была старинная солдатская песня, ее бывало

очень любил тятя, говаривавший так:

- Каждый родится со своей песней, как под своей звездой, - она сопровождает человека до могилы. А я всю жизнь с этой песней.

У Александры есть своя, но и эту, тятину, она тоже любила.

В будние дни тятя не пел, а как праздник, подшибется рукой под щеку, сидит и поет; до тех пор, пока не заплачет:

- Командир-майор,

Отпусти ты меня домой:

Больно скучилась, больно смучилась

Без меня моя зазноба...

Мужа Александры взяли на фронт не в первый год войны, а на другой: возраст у него уже был не молоденький. Воевал он, часто письма присылал, и из окопов, и из госпиталей, а она его ждала; и всякий раз, вспоминая мужа, мысленно просила: командир-майор, отпусти ты его домой, больно скучилась я, больно смучилась. А тот отвечал не ей - Василию, ее мужу:

- Я бы рад тебя пустить,

Да долго ты пробудешь.

А ты напейся воды холодной -

Про свою лубу забудешь.

Писал Василий и с берегов Дона, и с берегов Днепра, и с берегов речки по имени Прут:

Пил я воду да пил холодну,

Пил - не напивался.

Любил Шуру, ох, Александру,

Любил да расстался.

Два раза лежал в госпитале - вылечился и опять на фронт. В третий раз Василия ранило на границе с Польшей, в тот самый момент, когда переходили эту границу, гоня немцев дальше. Вот как раз тут и угодила ему пуля в живот и два осколка в грудь. Вышел из госпиталя едва целехонек, до дома доехал чуть живехонек и прожил не больше года.

Помер, помер солдат бравый,

Помер сам собою,

И остался да конь вороний

С золотой уздою.

Похоронили Василия Павлыча на родном погосте возле Рябинок.

Коня везут, тело несут,

Конь головку клонит.

Молодая да Александра

Горьку слёзу ронит...

- Ишь, какая песня-то, - всякий раз сердито говорила она кошке, вытирая слезы ладонью, и добавляла с досадой: - Кто ее только сложил!

Кошка помалкивала сочувственно.

- И чего это все песни такие - все со слезами. Жизнь, что ли, горькая была?.. И что за польза от них?

А та, должно быть, польза, что без них нельзя.

Тут она вспомнила Володю Семиженова, и мысли ее приняли новое направление: что-то не складывается у парня, что-то его томит и печалит. А все Катя-учителька...

Однажды сидела Александра вот так же, вдруг - стук в окно. Вздрыгнула, насторожилась - стук повторился. А ить ночь на дворе темная!

- Бабушка! - раздался знакомый голос. - Ты жива?

Отперла дверь - в дом ввалился мокрый, заляпанный грязью Володя. Стал отряхиваться у порога, громко топая, возбужденно говорил:

- Ну, баб Саш! Без тебя пропал бы. Совсем заблудился! Така темень! Будто конец света. Уж стало казаться, что вовсе я ослеп. Куда идти? Не знаю! Хлюпал напрямик, как бог на душу положит. Ну и попал: то лес, то болото, а то канавы какие-то, каких я сроду нигде не видел. Ну, думаю, придется ночевать под кустом. С ног валюсь! И вдруг, гляжу: огонек светится! То ли черти манят, то ли еще что... А это Рябинки! Если б не твое окошко - все, мне конец.

- Полно врать-то, - хладнокровно остановила его Александра. - И куда это тебя носило, родимой?

- Как это куда? - удивился Володя. - К собственной жене. Чай, не первый год хожу, будто не знаешь!

- Да не жена тебе Катенька, не жена.

- Ну, так будет!

- Ты говорил, что у тебя их будет семь штук.

- Нет, баб Саш, только одна. Зато уж...

- Ну что нынче? Прогнала?

- Прогнала, - сокрушенно признался Володя.

Второй год похаживает Семиженов в деревню Вострухово, где Катя учит малолеток, и все без толку: Катя - девушка строгая, к ней не подступись. А поглядеть: не больно видная - худенькая, беленькая, глазастая. А только Володе она как солнышко. Он по простоте своей и не скрывает, что и дышать-то на нее боится. Где ж такому завладеть девкой! А парень хороший, душевный парень.

- 10 -

Долго лежала она без сна. Ветер тоненько посвистывал в оконной щели; березы этак голо, по-осеннему, без шелеста и шепота шумели перед окнами; иногда где-то высоко над тучами, едва различимый по звуку, пролетал самолет.

- Саш, ты не боишься, что вот так однажды умрешь? - спросил чей-то голос - не Капы ли Сунжиной? - спросил где-то в душе. - Будешь лежать одна в пустом доме, одна в пустой деревне. Не боишься?

Нет, не Капа - сама себя спросила. И ответила не сразу, подумав:

- Боюсь.

«Ой, чтой-то я не о том! - спохватилась она. - Этак мне не уснуть».

Под старость сон у нее стал, как чванный гость, которого можно заманить лишь особо вкусным угощением. У Александры была для него своя хитрость: она исподволь, осторожно начинала сворачивать течение своих дум на что-нибудь хорошее, а это хорошее могло быть связано только с весной.

Вот уберется большая вода, едва-едва просохнет дорога, первый зеленый пух оденет землю и деревья, и тогда можно будет со дня на день ждать дорогих гостей, и к себе в дом, и просто в деревню.

Может быть, приедет с семьей большой начальник Володя Крестовников. Или Павел Иванович Виноградов с сыновьями - в прошлый раз они приехали в мае. Глядишь приедут дочка Анны Савишны Василенка с мужем-милиционером, бравый слесарь Николай Лухов с толстухой женой, разнаряженная Сомлеева Марья, братья-инженеры Французовы... И уж конечно, будущим-то летом приедет сын Юра, не бывавший в Рябинках уже шесть лет, и Толя, приезжавший три года назад, да и Шурочка...

Ах, как оживет деревня! Как зазвонят голоса ребятишек, велосипедные звонки, застучат топоры и молотки домовитых хозяев, заурчат моторы «Москвичей» и «Жигулей»... И утром, и вечером потянутся к ней, Александре, за Мотиным молоком женщины и ребятишки.

Устроят общий стол, песни будут петь; «Командир-майор, отпусти ты меня домой...», «Осыпайтесь, бережки, осыпайтесь крутые, желтым маковым песком...»

Какой праздник был бы в Рябинках!

- 11 -

Александра, лежа в постели, улыбалась...

Недаром говорят, что сон прилетает. Он прилетел, неслышимый и невидимый, подобно ночной птице, сел на козырьке кровати с помятыми никелированными шарами, опахнул крыльями...

В эту ночь праздничное ликование царило в деревне, так удобно, так просторно разместившееся в ней, Александре: в Рябинках уже наступила весна, и там играли веселую свадьбу.

1981 г.

ВОРОВСКАЯ НОЧЬ

РАССКАЗ

Сорок лет прошло, и я забыл ту темную, истинно воровскую ночь... То-есть не то, чтобы вовсе выпала она из моей памяти, а просто утратила постепенно свою достоверность, и стал я сомневаться; да полно, была ли она! Может приснилась? Со мной случается - иногда в отдаленном своем прошлом не могу отличить сон от яви, выдумку от были. Но нет, к чему сомнения? Происшедшее тогда неопровержимо выплыло вот теперь из тумана забвения, причем настолько ясно, словно это было вчера.

Да, я живо помню тот августовский вечер, ничем в общем-то не примечательный, похожий на многие другие: сумеречно, мать устало собирала ужин, я уже подремывал, сидя на лавке: утомился за день не меньше взрослых. Но тут пришел с работы Мишака, что-то сказал матери напряженным шепотом, и тон его голоса пробудил мое любопытство; мать переспросила и поднесла руку ко рту, словно удерживая готовый вырваться вскрик.

- Что ты наделал! - едва выговорила она, и голос ее прозвучал непохоже. - Башка твоя дурья...

Обернулась растерянно в мою сторону, и я заметил

при свете нашей коптилки, что мать стала бледна. А Мишака только теперь, кажется, испугался - испугался, увидев материно лицо.

В этот день молотили гречиху...

Наш колхоз имени Первого Мая состоял всего из одной деревни Баулино, в которой и было-то около тридцати домов, в большинстве своем крытых соломой; а вокруг - гектаров сто двадцать пахотной земли, немного пастбищ по опушкам леса, по канавам, вдоль дорог. И вот колхоз сеял на своей земле и рожь, и овес, и пшеницу, и ячмень, и горох, и лен... и непременно одно поле было занято гречихой. Жали ее серпами, вязали в снопики и ставили в суслоны дозревать, а потом на току возле Махалкиной риги молотили цепами.

Гречку, только что намолоченную, возили в мешках от тока к амбару; тут ее впервые взвешивали и записывали в книгу. Думаю, это были легкие мешки - не то, что с льняным семенем, - те, как литые, каждый по девяносто килограммов. А гречка, небось, вдвое легче, хотя не берусь утверждать наверное, поскольку по причине малого своего возраста мешки эти не таскал. Другое дело - Мишака, ему тогда было лет четырнадцать, он уже работал наравне со взрослыми.

От тока до амбара невелико расстояние, окликнешь отсюда - тебе отзовутся оттуда. Но напрямик - это по усадьбам, а кто ж позволит так-то ездить! На усадьбах отавка восходит, ее стерегут.

Значит, приходилось делать небольшой крюк - по околице, вдоль канавы, заросшей ивняком, по дороге, рассекавшей нашу деревню поперек.

И вот как это взбрело в голову моему брату?..

Я сразу понял, что к чему, хоть и слышал лишь обрывки фраз: Мишака сбросил с телеги под ивовый куст узел с колхозной гречей; мало того - он даже присыпал его прошлогодней листвой и зеленой травкой. Поскольку дело было под вечер, когда заканчивали работу, никто ничего не заметил, никто ни о чем не догадался: гречка-то вставала на учет только возле амбара!

Я в ту пору сообразительный был - страсть! Меня перехитрить или что-нибудь от меня скрыть... Это теперь простоват, а тогда глаз имел зоркий, ручонку цепкую, умишко быстрый: пустое-то брюхо соображать живо научит!

Одно я не сразу понял: отчего так рассердилась и испугалась мать? Сам-то я отнесся к этому с интересом и даже восторгом, и не более того. О преступном характере говорил лишь страх матери.

Кажется, за год перед тем посадили в тюрьму Петра Устинова: настриг на ржаном поле колосков, поймали на месте преступления. Пришел он с войны на деревяшке вместо ноги и с костылем, детей у него - своих трое да двое братних сирот. А на фронте, говорили, был наводчиком орудия, прошел с фронтом от Тулы до польской границы, орден имел

за мужество и стойкость, а вот притащить в жениной шали колосков с колхозного поля не посчастливилось ему, попался. Конечно, если б не деревянная нога, кто б его поймал! Да и то сказать: будь он здоровым, разве пошел бы колоски воровать! А так... услали Петра неведомо куда, с тех пор пропал без вести.

А еще минувшей зимой две девки - Маруся Лалачкина да Верка Мерзлякова - приладились воровать колхозную картошку: проделали нору в земляной крыше бурта и выкатывали палочкой по картошинке. Накатают, потом сварят в чугушке, поедят - и на гулянье в соседнюю деревню Ергушово; там гармонист, а Маруся с Веркой - мастерицы «елецкого» плясать. Так у них счастливо получилось раза два, а на третий выдалась оттепель; они, дуры, не учли, что на мокром снегу следы отпечатаются очень четко: председатель колхоза Иван Пятаков прошел по этим следам, будто охотничья собака за лисицами. Еще легко отделались девки! Могли бы в Сибирь закатать, как Устинова Петра, а так-то дали им по году принудиловки, и послали на торфоразработки под Конаково.

И зимой, и летом Пятаков зорко следил, чтоб, избави Бог, не украли что-нибудь колхозное. Весной гонял с картофельного поля ергушовских, приходивших за «тошнотиками» - случайно не убранными осенью картошинами: на собственных-то полях уже повыбрали. «Не ваше поле! - орал Пятаков.

- Нечего шастать!» А своим, как он сам выразался, любил «устраивать шмон»: встречал с работы и командовал:

- А ну, выворачивай карманы! Снимай валенки!

У нас в валенках ходили не только зимой, но и летом: другой обуви не было, а эту валяли сами - ремесло повелось исстари! В валенках и по росе косить, и по стерне жать, и во дворе по навозу ходить - между прочим, для ног это здоровее, чем в сапогах резиновых. У кого есть калоши - тот в валенках с калошами, а нет, то и так.

И вот по команде Пятакова все, кто только что молотил да веял зерно, трясли вывернутыми карманами, разувались. И собственная жена председателя Пятакова тоже.

- И в трусах проверять будешь? - спрашивали бабы побойчее. - Глянь, Иван Данилыч, может я насыпала туда.

Пятаков крыл их матом.

- Вы весь колхоз растащите к едрене-фене! Знаю я вас!

В прошлом году он этак-то заловил нашу соседку тетя Лиду: она насыпала зерна в калоши, а калоши надела на валенки. По приказанию Пятакова охотно разулась, с готовностью опрокинула обувь вниз голенищами, потрясла: вот, мол, гляди, ничего у меня нет. Но он догадался проверить и калоши.

- Ты что же, стерва, а? Ты кого вокруг пальца

обвести вздумала? Ты не меня обхитрить хотела, а государство! Понимаешь ли ты это!?

Слово «Государство» имело чрезвычайный и грозный смысл, потому и пишу его сейчас с большой буквы. Государство было строгим и взыскательным властелином над нашей деревней Баулино и над всеми прочими подобными ей, куда ни пойдешь; оно отбирало почти все, что сеялось и сажалось на ста двадцати гектарах пахотных земель нашего колхоза. Ну, естественно, кроме клевера, который предназначался лошадям и коровам. Но ведь и молоко этих коров, не только колхозных, но и частных и мясо свиней да телят, и яйца кур и сами куры - все тоже шло, ехало, везлось Государству, перед которым - нишкни! Оно брало это, ничего не давая взамен. А Пятаков Иван Данилыч, багроволицый мужик с разорванным правым ухом и отсеченным начисто мизинцем правой руки был его полномочным, взыскательным надзирателем.

Голос Пятакова, разъяренного тем, что подозрения оправдались, поднимался все выше и выше, до срыва, до хрипу, - совсем озверел мужик. Уж как рыдала тетя Лида!

- Детей четверо, Иван Данилыч. Прости...

А вот не каменное сердце и у Пятакова: не подал в суд. Просто оштрафовал на десять трудодней. Да трудодни-то кому жалко! На них давали в конце года по триста граммов сорной ржицы да по килу

картошки.

- Вам дай волю - все разворуете! - орал председатель, все более и более наливаясь тяжелой кровью. - Вы и государство продадите вместе с потрохами международному империализму!

Говорили, когда-то он был веселым парнем, на ба-лалайке здорово играл. Но теперь никто не видел Пятакова улыбающимся. Он, небось, уж разучился улыбаться, да и спокойным-то голосом не разговаривал никогда - только криком, только руганью. То ли ему сладко было держать Баулино в страхе, то ли считал, что при его должности иначе нельзя.

Тетя Лида отнесла ему вечером четверть самогону, за которым пришлось ей срочно сбегать в Верхнюю Луду и купить там в знатом месте.

Ничем нельзя было смягчить или умиловать Пятакова - ни деньгами, ни подарками, ни тайными обещаниями - но перед самогонкой он устоять не мог. Из-за нее, наверно, и кончил плохо: приехали к нему двое уполномоченных, материли Пятакова за отставание с госпоставками, один из них стучал по председательскому столу рукояткой нагана, а вечером председатель заперся в Махалкиной риге, где сушили ржаные снопы, а там то ли спать улегся с сигаркой, то ли сам поджег - пьяный был! Вспыхнула рига и сгорела весело, до самого неба вздымая искры, - будто костер в прощенное воскресенье, когда масленицу жгут. О том, что осталось от Пятакова, говорили у нас

в Баулине только полусшепотом.

Но это случилось потом, год спустя. А пока что не было в нашей деревне человека грознее и беспощаднее, чем председатель Иван Пятаков.

- Что же ты натворил, Мишака! - повторяла мать, себя не помня. - Дурья твоя башка...

Она сидела на лавке, положив на колени тяжелые руки. Спихватилась, что я все слышу, сделала знак Мишаке: не говори, мол, при малом. Это обо мне, значит: боялась, что выдам. Ну, не с умыслом да расчетом, как Павлик Морозов, - думаю, я тогда о нем и знать-то не знал, и слыхом не слыхивал - а просто нечаянно проболтаюсь... Известно, чем люди взрослее, тем глупее да и трусливей тоже.

А я уже соображал, как незаметно перетащить узел домой. Понятно, что самому мне не справиться, но посоветоваться-то могу! Мишака же с матерью между тем ударились в панику, особенно мать. Они старались говорить намеками, но от волнения то и дело проговаривались оба.

- Вот как стемнеет вовсе, отнесешь назад к риге, - распорядилась мать и тотчас спихватилась в досаде: я рядом. - А ты чего тут отрепываешься! О чем бы взрослые ни говорили, все ему надо слушать. Ишь, наострил ушки! Ну-ка, пошел вон!

«Взрослый» Мишака со словами «Брысь отсюда!» дал мне пинка, я вылетел в сени. Дверь закрыли, но все равно ведь слышно, что говорят в

избе.

- Большой узел-то? - спрашивала мать.

- С полпуда, - отвечал Мишака.

- Господи, да как тебе в башку-то взбрело! Отца нет: уж прописал бы тебе на заднице-то. Польстился он!.. Да знаешь ли ты, чем это грозит? Тебя в колонию отправят... меня в тюрьму...

- Жрать нечего! - буркнул Мишака.

- Мало ли что! А все равно не трожь! Али не знаешь? Руки отсохнут.

В ответ: «Бу-бу-бу» - это Мишака оправдывался невнятно.

- Вот утихомятятся все, лягут спать, и отнеси назад, - решила она, будто утешая саму себя.

- Ну да! Понесу, а меня поймают.

- А ты думал как! - со слезой вскричала мать. - Все бы так-то воровали, кабы не суд да не тюрьма! А ты у нас вот и на икону-то не перекрестишься!

Мишака в ответ опять невнятное:

- Бу-бу-бу...

Нет уж, коготок увяз - всей пташке пропасть, - причитала мать. - Ох, Мишака, Мишака... что же ты наделал, поросенок!

Старший брательник ежедневно мне «давал дрозда», «отвешивал леща» или что-нибудь вроде этого, так что поросенком его назвали вполне справедливо. Я был доволен. Но я никак не хотел, чтоб брата Мишаку «отправили в колонию» или

«посадили в тюрьму». Я жалел его. Но выходило теперь все плохо: и домой нести опасно, и к риге назад - ничуть не лучше, и просто так оставить - тоже нельзя. Как ни кинь - все клин, будто в западню попали. Примеряли они так и этак, и тут мать осенило: надо немедленно пойти к Пятакову и все чистосердечно рассказать. Иначе, мол, рано ли, поздно ли, все равно докопается. Как? Да уж как-нибудь. А если по-хорошему попросить его...

- Но ведь никто же не видел! - бубнил свое Мишака.

- Молчи! Молчи! - приказывала мать. - Ворона видела... а она скажет борову, боров всему городу. Не знаешь разве?

Она все более утверждалась в своей мысли: лучше сразу признаться, пока молва не пошла о краже, тогда-то будет труднее. Надо умолять председателя сейчас, пусть пощадит Мишаку, поскольку по годам своим он еще глуп.

Ну, насчет глупости - тут я опять с матерью был согласен: Мишака у нас сначала делает, а потом думает, зачем он это сделал. А надо бы наоборот.

- Пойдем к Пятакову, - решительно сказала она. - Я ему пообещаю самогоночки достать.

- Не пойду, - уперся Мишака. - Пусть греча в канаве лежит, пока не сгниет. А найдут - моя хата с краю, я ничего не знаю. Никто не видел, никто ничего не докажет.

Я даже удивился: «Ишь ты, хоть и дурак, а умный Мишака-то!» В самом деле, так лучше всего.

- Да и нечего бояться, - сказал он через минуту. - Вот сейчас пойду и принесу. Глянь, темная ночь во дворе, все уж спать легли. Я задами, околицей...

«Смотри-ка, он не такой уж и трус, Мишака-то! - опять удивился я. - Не так-то уж он и боится!»

- А если все-таки видел кто? - жарко сомневалась мать. - Петр Устинов вот так же припрятал узел с колосками: ночью, мол, приду. Пришел, а его там уже и ждут.

- Меня не поймают, - твердо отвечал Мишака. - Я ж не на костылях.

- А мешок? Спыхватятся - где он? Ить все мешки колхозные наперечет. Об этом ты подумал? Спросят: где мешок?

Мишака и тут проявил завидную рассудительность:

- Принесу домой, тут высыплем, а мешок подброшу к риге. Его за пазухой принесешь, если пустой-то. Так же гораздо легче. И все-таки полпуда гречи... нам надолго хватило бы.

Я чувствовал, как засомневалась мать: может и впрямь лучше притащить домой этот злосчастный узел с гречкой?

- Ой, Господи! Змей ты окаянный, Мишака...

Долго они совещались, а я сидел в темных сенях и соображал: неужели никто не обнаружил пропажи

мешка? Даже пустого? Если так, то завтра заметят обязательно! или бригадир, или кладовщик, или сам председатель. Станут искать, разбираться. Кто возил к амбару? Мишака. И тут сразу же заподозрят: пустой был мешок или с гречкой? Ну и начнется. Председатель устроит допрос при всем народе... Мишака перетрухает и признается. Пятаков скажет: мать научила, сажай их обоих. И посадят. И останусь я один в пустом доме.

- Что ты натворил! - время от времени слышалось из избы.

Тут меня осенило: я маленький, меня не заметят - пойти, отыскать спрятанное Мишакой, притащить, пока они ахают да охают... Нет, не годится: во-первых, не знаю, где ухоронка; а во-вторых, он, небось, тяжелый, узел-то. Полпуда - это сколько?.. Как ведро воды или как два ведра? Наверно, два. «Тогда так, - соображал я, - насыплю за рубаху. Пусть не за один раз, а за два или три... хоть за десять! Ночь длинная...»

Вспомнилось, как этим же летом ватага наших баулинских ребят ходила в Селятино за яблоками: там почему-то много яблонь было в огородах, тем и славилось село. Дело было ночью, хозяева садов спали крепко, никто не мешал обтрясать яблони. Но много ли поместится в карманах! Кто-то насыпал за рубаху, а наш Мишака завязал штанины у щиколоток тесемочками и напихал яблок туда. Вышло на каждой

ноге по мешку. Отправились назад и уж прошли половину пути, разговаривали громко, яблоками хрустели, чавкали, как поросята.

И вот тут над ними устроили шутку на шбаулинский пастух Тезя да его дружок Васяка Рыбин: верхами на лошадях выскакали из леса, якобы они селятинские, догоняют воров. Все бросились врассыпную, кто куда, а у Мишаки яблоки в штанинах, как ему бежать? Он порскнул в рожь, пополз по меже, штаны лопнули... Смеху было! На другой день ходили собирать те яблоки, что растеряли со страху-то, и больше всего веселило, что на меже яблочки выкатывались из Мишкиных штанов ровненько, штучка за штучкой, - хватило на полкилометра, не меньше.

Я очень живо представил себе, что вот насыпал гречи за рубаху, а меня стали ловить; я улепетываю, и гречка сыплется - она и приведет к нам домой Пятакова, как привели следы за Марусей и Веркой.

Пока я примерялся так и этак, вышла мать и приказала мне немедленно ложиться спать; и если не засну через минуту, она меня выпорет, чтоб век помнил. Тон ее голоса не оставлял сомнений: так оно и будет. Поэтому я послушно лег и мгновенно затих. Некоторое время спустя, они ушли; я слышал, как легонько хлопнула наружная дверь, и тотчас вскочил с кровати, неслышно выскользнул на улицу.

Ночь была темная, истинно воровская. Я сообразил, что мать с Мишакой пойдут задами,

усадебными, прячась за сараи и кусты на околице, потому быстро пробежал половину деревни, свернул в прогон, неслышно перелез через изгородь и замер, чутко слушая. Я решил стеречь их и если что, дать им знать.

Тут уместно будет заметить, что теперь, когда я уже стал по сути дела соучастником преступления, я не думал, во имя чего все эти хлопоты и волнения. То-есть мне просто не приходило в голову, что при удачном исходе этого опасного дела можно будет варить гречневую кашу, которая, уж наверно, не хуже прочих.

В детском моем сознании было такое отвлеченное понятие о гречихе. То есть я видел, что растущая в огороде картошка - это еда, утеха живота моего; рожь да овес или жито мне приходилось самому молотить на ручных жерновах - я знал, что из намолотой муки пекутся вкусные блины, лепешки, хлеб... а вот о каше из гречи я только слышал, но не пробовал ее.

Мы ели ботвиньи, тыквенники, пареную и сушеную свеклу, крапивные щи и, конечно, картошку вареную, жареную, толченую, тушеную. Я отлично знал, что из чего получается: вот картошка в огороде - и вот она в чугунке; вот гриб в лесу - и, как следствие, он на сковородке; а коли в горшке репка пареная, то ведь я же ее поливал на грядке! А греча с поля ни разу не превратилась в кашу на нашем столе; они были самостоятельны и независимы друг от друга - гречиха

и еда из нее - прервалась между ними следственная и причинная связь.

А уж как бы пригодилась она зимой, когда запасы иссякали и становились голодно-вато! Тем более весной, когда совсем скудно. Правда, весной-то поборнее: едва сойдет талая вода - появлялись первый щавелек и молодая крапивка... Да и сам воздух, казалось, подпитывал тоскующий желудок. А вдобавок мы ходили на картофельное поле собирать «тошнотики»; при большом везении попадались крупные, и хоть они представляли собой темные мешочки из кожуры, наполненные ослизлым крахмалом, - но тоже еда.

Однако не стану вспоминать эти черно-сизые и серо-фиолетовые тошнотики, из которых пекли дурно пахнущие лепешки и оладьи - речь все-таки о гречихе и о той воровской ночи, которая началась неожиданным сообщением Мишаки.

Итак, я замер и чутко слушал ночную тишину. Почему-то в нашей деревне не раздавалось никаких звуков. Вся она будто затаилась и прислушивалась к тому, как моя мать и мой брат крадутся к припрятанному в канаве узлу... И более того: казалось, десятки злорадных глаз следили за ними из огородов, из-за сараев и кустов, заранее торжествуя, что вот сейчас их поймают. Я был в таком онемелом состоянии: вдруг вон за тем деревом стоит Пятаков, и вот-вот раздастся его грозный, зычный крик: «Держи воров! Они весь колхоз растащат - хватай их!»

Только тут я понял, как это страшно - воровать. Коли за огурцами или за крыжовником в чужой огород - это совсем другое дело! Что там - ну, отругают... ну, оттреплют за уши. А вот когда могут посадить в тюрьму - это уже и есть настоящее воровство.

Моя мать и мой брат покушались на то, что принадлежит Государству. Почему же оно принадлежит ему? Ведь то поле пахал кто? Да наши баулинские бабы и моя мать с ними. И не кто-нибудь, а именно моя мать ходила по полю с лукошком - сеяла. А Мишака боронил и перед севом, и после него. Потом он возил гречиху с поля на ток, где мать вместе со всеми молотила ее цепом. А что делало Государство, которое отбирает все, что выросло на том поле? Какую работу произвело или что дало взамен?

Эти мысли я пытаюсь выстроить на детский лад сегодня, но могу поручиться, что нечто похожее приходило мне на ум и тогда. Правда, в воровскую ночь было не до того.

- Барь-барь-барь! - звал женский голос в Ергушове - значит, потерялась овечка у кого-то; в Матреновке тренькала балалаечка; в Высоком Борке скрипел ворот колодца. Эти звуки приплывали по ночной росистой равнине, по полям и лугам, у нас же в Баулине было тихо и немо.

У меня уши стали огромными, как лопухи, и глаза - с чайные блюдца, ей-богу!

Вдруг я услышал в отдалении шаги - кто-то мягко

ступал по пыльной дороге. И шопот донесся до меня. Да, шопот именно там, где шаги, я отчетливо услышал его, хотя и не мог различить, что именно шепчут - это были мать и Мишака; их тени проследовали от ветлы на берегу Фролова пруда к Махалкиной риге, мимо Мотиного сарая...

Я весь напрягся: не слышно ли, не видно ли какого шевеления с другой стороны. Если выдают себя те, кто идет воровать, то должны обнаружиться и те, кто их подстерегает. Но ничего подозрительного не было заметно. Впрочем, хлопнула внутренняя дверь в избе Мерзляковых - негромко хлопнула, но я вздрогнул. А вздрогнув, готов был кинуться туда, где мать и Мишака: убегайте!

Но что попусту пугаться: просто кто-то из Мерзляковых вышел во двор, а оттуда ничего не видеть. Бояться надо не их, а Пятакова, хитрого, злого и беспощадного мужика. Уж он-то наверное не спит. У него уши востренькие, как у овчарки, и глаза кошачьи. Может, встал вон там за амбаром да и выслеживает? Кто, мол, это ночью топает по околице да еще и перешептывается боязливо? Ага, мешок тащат! Держи их!

Я быстро перебежал к амбару, готовый вцепиться в невидимого Пятакова: ты сам вор! Кто колхозного теленка отвез якобы на базар, а на самом деле какому-то начальнику? Потом теленка списали, как подошедшего от болезни. Но будто бы не узналось в деревне! А кто

прошлой осенью подарил мешок жита то ли прокурору, то ли самому главному милиционеру? Думаешь, в деревне и про это не знают? Всем известно, да молчат, боятся. А я не боюсь, если что.

Я обошел амбар кругом - никого не было - и опять замер, слушая. Мать с Мишакой словно провалились сквозь землю. Может, вернулись домой со страху? Сначала-то решились, а как до дела дошло - струсили?

И вдруг я услышал торопливые шаги там, на околице. Чьи это? Кто-то ловит уже Мишаку с матерью? Я кинулся туда, не замечая, как по росистой траве захладили мои босые ноги. Чуть не выскочил на дорогу, припал на корточки: совсем рядом со мною, гораздо быстрее, чем прежде, двигались две фигуры, у одной из них за плечами была ноша. Они! Мишака шел сзади, мать несла. Я обернулся к деревне: не слышит ли кто? Не видит ли кто? Не бегут ли оттуда?

Нет, ночь темная, глухая. Вот только шаги на пыльной дороге - ступ, ступ, ступ; и можно было различить частое дыхание матери. Я шел сзади и стороной, как бы загораживая их от деревни, готовый предупредить, если кто-то пойдет от огородов по направлению к ним. Шел, укоряя, умоляя мысленно: ну, потише дышите, потише ступайте! Ну, что вы за люди: совсем не умеете воровать!..

Наконец, знакомо скрипнула задняя калитка нашего огорода, хлопнула дворовая дверь нашего дома; я проскользнул в избу. Во дворе мать и Мишака

говорили уже посмелей, но торопливо, задышливо. Шуршало сено - прятали, значит. Мать, тяжело дыша и шаря по стене рукой, вошла по лестнице в сени, я лег в постель. Дело сделано! Их не поймали. Никто не видел...

Мать вошла в избу одна, Мишаки не было. Ага, это значит, он унес пустой мешок к риге. Сунет там под соломку, потом, если что, скажет: знать ничего не знаю, где вы мешок положили, там он и лежит. Вот так.

Я неслышно засмеялся и накрыл голову одеялом, чтоб не выдать себя. Вынырнул, прислушался: мать, посидев на лавке, чиркнула спичкой, зажгла лампадку перед иконами, встала на колени, выговорила жарким шёпотом:

- Господи, прости... прости нас, Господи, и сохрани... Не ведаем, что творим... Не мы крадем, беда наша крадет. Не осуди меня и не дай ребяткам пропасть... Отца с матерью моих Ты взял, мужа на войне убили по Твоему попущению, Господи!.. Нет, нет, я не корю Тебя, просто напоминаю. Детей у меня двое, тяжело... Как мне быть? Кусок хлеба отнимают, Господи!..

Гречка была пересыпана в наволочку и спрятана на чердаке в опилки, льняную костру и паклю, утеплявшие потолок, - это я вычислил на другой день по некоторым косвенным признакам, поскольку все делалось втайне от меня. Потом ее перепрятали в

кадушку под лестницей и засыпали мякиной. Но и это место, должно быть, не казалось матери надежным, она перепрятала наволочку с гречей в третье, а потом в четвертое место.

Я не знал вкуса гречневой каши и потому проявлял нетерпение: когда же, наконец, она будет сварена. Но ведь не скажешь же напрямик: варите, мол, гречневую кашу! Однажды подслушал, как Мишака сказал насмешливо матери:

- Ну что ты носишься с нею, как курица с яйцом? Никто ж не спохватился, чего ты боишься?

- Ой, а я ночей не сплю. Так и жду: стукнет дверь и явятся с обыском. Надсада сердцу - эта греча. Прямо хоть выбрасывай ее...

- Тогда давай не хранить до зимы, а съедим сейчас.

- Боюсь, - призналась мать. - Поставлю в печь - а вдруг кто прилучится! Войдет, а у нас гречневой кашей пахнет.

- Ну и что? - не понимал Мишака.

- А то. Сразу же: откуда взяли? Вот и подозрение.

- Запремся и никого не пустим в избу в этот день.

- Могут из трубы по дыму учуять.

Вот это и мне в голову не приходило. Но ведь мать права! Действительно, по дыму из трубы можно...

- Я вот иду по деревне и слышу: у Офросиньных щи с капустой кислой, у Насти Федуловой картошка подгорела, у Лалачкиных - разговенье: больную

курицу прирезали, супчик куриный затеяли. Да если б кто-то кашу гречневую варил, разве я не учуяла бы! И каждый так.

Должно быть, это озадачило и Мишаку.

- Что ж теперь? - спросил он. - И не варить? Зачем же тогда...

- Будь она проклята, эта гречка! Чтоб ей пусто было! Нету мне покою. Уж я замечаю, что исхудала вся. Верно говорят: не работа сушит, а забота. Ох, Мишака, и себя загубишь, и меня. Выброшу я ее ко псам, ей-богу, выброшу!

Но не выбросила, конечно, а придумала вот что: собрались как-то бабы на базар в город, и она с ними. Там купила кило гречневой крупки. На нее дивились: «Что это ты, гляди-ка, раскошелилась? Знать, богата больно.»

- А не знаю, бабоньки. Уж так захотелось кашки гречневой, так захотелось...

И всю дорогу обратную толковала о том, как сварит кашки, да как угостит Мишаку и меня, а уж мы будто бы мечтали об этом не один год.

Так я впервые узнал вкус гречневой каши.

Ныне я поймал себя на мысли, что забыл, как растет гречиха. В последний-то раз видел ее в поле году этак... да вот, пожалуй, только тогда, когда колхоз наш состоял из одной деревни Баулино и владел ста двадцатью гектарами пахотной земли. Но не могу

забыть запах цветущего гречишного поля! Помнится, невысока она была, гречиха, - пониже пояса, повыше колен, со слабой соломкой - не как у ржи, а как у гороха. А цвела... вроде бы, такими мелкими звездочками, то ли белого, то ли розового цвета. Кто знает - пусть меня поправит. Раз есть в неких тайных закромах гречневая крупа, следовательно, сеют где-то и гречиху.

А вот интересно: помнит ли моя мать гречиху цветущей? Или тоже забыла?

Матери моей прошлой осенью исполнилось восемьдесят. Она давно живет уже не в Баулине, а в маленьком городке, где вместе со своей сестрой купила домик, вместе держат хозяйство - огород, сарай с курами. Время от времени болезни подступают к ней дружно, и всякий раз ей кажется, что все, помирает. Тут она шлет нам, сыновьям, телеграммы: приезжайте, мол, повидаться напоследок. Мы с Михаилом съезжаемся, застаем мать в постели, она радуется нам, оживляется.

О чем бы мы ни говорили втроем, разговор у нас неизменно возвращается к тому времени, когда мы были малы, а она молода - разговор подчас пустяковый, но лицо у матери румянеет, глаза начинают блестеть, голос приободряется, и она начинает выздоравливать на глазах.

- Имена у нас произносили на такой манер: Васяка, Коляка, Витяка, - вспоминает Михаил, бывший Мишака. - В каждой деревне свой выговор.

А только телевидение всех сравнило, везде одинаково говорят.

- В Ергушове маленько прицокивали, - замечает мать. - Реценька, руценька...

- А в Верхней Луде прибавляли окончание: сарай-итко, улей-итко. Сергей-итко косил пырей-итко.

- Ну, имена-то не переиначивали, - сомневается мать.

- Ну да! Вот Сергея Грачева из Верхней Луды, я помню, так и звали: Сергейитко... ну, который зарезался-то.

И споткнулся разговор на Грачеве из деревни Верхняя Луда.

- Какой хороший мужик-то был, - говорит мать печально. - Ить я его знала, вместе гуляли. В парнях - что красна девка: тихий, совестливый, работающий...

- А что с ним случилось? - спрашиваю я. - Неужели сам зарезался?

- Дак недоимка накопилась! - объясняет мать. - Налоги-то какие были... А у него детишки мал мала меньше. Вернулся из плену, больной... Уж как его строжили! Как ему угрожали: посадим, мол! В Сибирь закатаем!.. Вот он и решился... В сенях постелил соломки, сынишку старшего усрал из дому: поди, мол, наноси воды из пруда в бочку огородную. Парнишко дело сделал, вернулся, а отец-от лежит...

- Какое время! - страдающе качает головой Михаил. - Какое жестокое время было!

Горюем о Грачеве Сергее, словно о родном человеке. И хоть невеселы воспоминания, а все ж разговор продолжается и далее.

- Mam, а помнишь тогда с гречкой-то? - осеняет меня вдруг довольно некстати.

- Чего это? - говорит она, настораживаясь.

- Ну, как наш Мишака чуть не полмешка гречки в канаву спихнул, и потом, ночью уж, этот мешок домой волокли.

Мать озабоченно перебирает по одеялу руками, зашевелилась, будто ей лежать неловко.

Я оглядываюсь на брата: что, мол, я не то ляпнул, да?

Михаил сидит с непроницаемым лицом. Тянет руку к пачке с сигаретами - закурить. Я же спешу скрасить неловкость:

- Да ну, мам, дело прошлое, почему не вспомнить! Мишака возил от риги мешки с гречей и узел в полпуда весом спихнул, обормот, в канаву. А уж потом, ночью, домой принесли...

- Не знаю, - растерянно говорит мать и стряхивает, стряхивает что-то невидимое с одеяла. - Что-то я не помню.

- А вы думали, что я тогда ничего не понял? - продолжаю я, бестактный и невоспитанный человек и нажимаю на веселость, а получается неестественно. - Да я ж сообразительный был - страсть! Это Мишака у нас простофилей рос, а меня перехитрить...

Мать, вроде бы, даже испугана - с чего? - и глазами спрашивает у моего старшего брата: надо ли, мол, помнить? Он же видит смущение и растерянность матери и даже страх - глубинный, необоримый страх! - которому я сглупа-то не нахожу разумного объяснения, и, должно быть, рассчитывает в уме: признаваться или не признаваться? Как лучше для матери?

- Что-то ты путаешь, сынок, - виновато говорит мать. - Ить разве мы...

Она оглядывается на окно, будто нас могут подслушать.

- Тогда за это по головке не погладили бы. Петра Устинова угнали в Сибирь, там и сгинул. Пятеро детей осталось. Иван Пятаков сам себя сжег. Серега Грачев... Время-то какое строгое было! Небось, если б мы чего, так и нас посадили бы.

Нет, не тех она боится ныне «властей», которые олицетворял грозный мужик Иван Пятаков - теперь иное время. Зачем я пробудил в моей матери тот давний укор себе самой, который толкнул ее тогда к горячей молитве: «Не мы крадем - горе наше крадет... Не осуди и не дай ребяткам пропасть...», толкнул опять-таки не из страха перед властью небесной - тут другое, тут глубже...

- Да с голодухи! - оправдываю я... кого - ее? Или их обоих?

- Все подряд ели, до лопухов дошли... Помнишь,

лопуховые корневища грызли, Михаил?

Он кивает и опять коротко и испытующе взглядывает на мать. А у нее - боже мой! - у нее вздрагивают руки, обирающие, одергивающие одеяло...

- Ведь это ж еще разобраться надо! - голос мой уже упал. - Нас самих уже обворовали кругом... И тот узел с гречей - наш был по любому счету!

Но нет, мать все еще во власти...

- Что-то не помню, - жалко говорит она.

Сорок лет прошло... да нет, уж больше!.. Пора, пора мне забыть ту темную, истинно воровскую ночь. Может быть, она мне все-таки приснилась?

1990 г.

ПУСТОШЬ

ПОВЕСТЬ

От далёкого детства осталось Ивану Проклову дорогое воспоминание, как достаётся по наследству фамильная драгоценность, - то, как ездил однажды на пустошь.

А отправился он туда с отчаянным рёвом, под угрозой отцовского ремня: не хотел вставать поутру с тёплой постели ещё потемну, когда сон так сладок.

- Ишь, сонная тетеря! - ругался отец. - Большой уже, по десятому году, женить пора, а он только дома сидел бы, как старуха старая. За стол сядет - каши умнёт не меньше взрослого, а как работать, так он маленький. Вставай живо, пока я ремень не снял!

По ночной деревне тут и там раздавались голоса: на пустошь собирались не одни Прокловы, а и Бачурины, и Коломейцевы, и Иванмарьины, и Дядины... и ещё кто-то. Пока суть да дело, уже и рассвело, а выехали за деревню - солнце взошло! Засияла роса на траве, сразу потеплело, звонче запели жаворонки. И чем дальше, тем с большим интересом оглядывался Ванюшка Проклов вокруг. Интерес сменился радостью, радость восторгом.

И вот всё дальнейшее вспоминалось потом, словно

великое торжество по случаю какого-то большого праздника. Так и плыли перед глазами картины, ставшие дорогими сердцу: как переправлялись через реку на пароме по зеркальной воде... как ехали долгим-долгим просёлком... как в незнакомой деревне остановились возле кузницы: у кого-то из ехавших лопнул обод колеса, и пока кузнец натягивал новый, пяти- или шестилетний парнишка его, узнав, что обоз этот из деревни Вёски, дразнил Ванюшку Проклова «лягвой», а Ванюшка его - «кузнечонком беспортошным»... как углубились потом в молодой березняк, которому, казалось, не будет конца-краю, - дорога тут терялась в высокой траве. И чем дальше, тем дичее становился лес - ель да сосна оттеснили берёзы, вот уж и вовсе стал лес дремучий - тут колёса громыхали по корням. Спустились в овраг, лошади пугливо стригли ушами, и вовсе стало страшно, однако выбрались благополучно и опять угодили в низину: отец на ходу примерялся, можно ли тут обратно-то с возом проехать.

На поляне лесной остановились лошадей покормить, сами поели: хлеб, картошка в мундире, зеленый лук-стрелишник. Рядом оказалось небольшое - с молотильный ток - озерцо, налитое дождями; в нем и лошадей попоили, и сами искупались. Не забыть никогда, как ласкова была вода в том озерце - словно парное молоко; а дно оказалось травянистым, более того, покрыто мягкой

луговой травой - значит, скоро должна была уйти вода и останется просто низинка.

Уже на склоне дня обоз остановился. Вокруг был редкий, низкорослый лесок - все березы с осинками, да кусты ольхи с брединой, да елочки кое-где; место неровное, ямы да буераки - вот это и была пустошь. Распрягли лошадей, стреножили их, отпустили пастись, а сами разбрелись во все стороны - осмотреть, где какая трава; вернулись довольные: нет, не зря сюда ехали.

Ночевали под телегами, загородившись от комаров срубленными березками; молодая листва их сладко пахла; Ванюшка долго слушал коростеля, фырканье пасущихся лошадей, тонкое пенье залетающих комаров, жался к отцу под тулуп - немного зябко было; через щель в телеге медленно переползала луна; потом она исчезла и он заснул.

А когда проснулся, солнце уже взошло. Никого поблизости не было - ни отца, ни соседей, ни их лошадей - только следы тележных колес змеями расплзались в разные стороны. Где-то неподалеку раздавался мерный звяк бруска о косу, издали на этот звяк отзывался такой же.

Ванюшка вылез, раздвинув березки; утренняя прохлада бодряще опажнула его. Брунжали мухи, играя на оглобле и на хомуте, прислоненном к колесу. Птичий гомон неумолчно торжествовал в лесу - и посвисты, и щебет, и теньканье, а пуще всего

жаворонок пел-заливался в вышине.

- Эй, сонная тетеря! - крикнул отец из-за кустов.

- Ну-ка, иди сюда. Гостинчик я тебе припас.

Роса окропила ноги и была еще холодна.

- Глянь-ка вон на тот бугорок, - сказал отец. - Чуть не обкосил я его, да вовремя заметил.

На бугорке том густо вызрела земляника. Ванюшка издал радостный возглас, а отец ему:

- Ты сходи вон к той гривке, наверняка и там есть.

То была благословенная земля: ягод необеримо, сладкие дудки вдоль ручья, песчаная осыпь с разноцветными камешками, которыми хорошо было рисовать на больших камнях; малины в ольшняке пропасть... За ручьем хвойный лес - раскидистые ели с ветвями до самой земли, а если стоят тесно три или четыре, то образуют как бы живую горницу - внутри сухо, чисто.

Ванюшка увлеченно шнырял окрест. Страшно было купаться в бочагах по ручью, они казались бездонными, потому что темные, слепые. Но то был радостный ужас, пережить который тянуло непреодолимо. В первое же утро целое семейство белых грибов нашел он под елками - одного дряхлого, ни на что уже не годного «дедушку», двоих кряжистых «родителей», сидевших дружно рядом, и целый выводок «детворы» разного возраста; и потом находил, так что в чугунке над костром у Прокловых получался изумительно вкусный суп.

В первый же день вдвоем с отцом ловили щурят в бочагах, ловили - смешно сказать - отцовыми штанами, словно вершей, загоняя туда рыбу. На песчаной осыпи Ванюшка нашел два чертовых пальца - один скрюченный, словно коготь, - истинно чертов! - однако оба имели известное свойство: когда отец порезал руку о лезвие косы, то наскребли с тех пальцев порошку, посыпали им рану, и она скоро затянулась.

Это было упоительное время! Все тут было, вроде бы, как в своей деревне Вёски - и солнце, и травы, и ветер, и деревья... но все другое! Солнце жарче, ягоды слаще, трава гуще, вода вкусней. И на каждом шагу новизна да открытия. Не было и минуты свободной - лес манил, ручей звал, ветер подталкивал в спину: иди туда, там ты еще не был.

Отец с трудом мог дозваться сына:

- Иван! Траву ворошить!

Он делал вид, что не слышит.

- Иди скорей! А не то выпорю.

Ванюшка ворошил траву, скошенную поутру отцом, к вечеру ее, уже подвялившуюся, надо было сгребать в валки, чтоб не напиталась росой, а на другое утро валки разбивать и уж к концу дня ставили копёшки. А отец подкашивал ещё и ещё.

- Иван! Иди скорей, тучу заносит!

Раза два накатывалась на них гроза. Тут они с отцом лихорадочно сгребали сено в копны - скорей,

скорей! Порывы ветра отчаянно трепали березки, ливень хлестал, молнии сверкали - уй-ю-юй! - гром громыхал. И дома в грозу страшно, а тут, под открытым небом, еще страшней. А уйдет гроза - солнце выглянет лучезарное: а что, мол, перепугались, намокли... ну, так я вас сейчас обсушу. И сушило мокрое сено и самих работников, вылезавших из-под телеги, которая спасти от ливня никак не могла.

Вечерами собирались вёскинские у чьего-нибудь костра, мужики курили, рассудительно толковали о завтрашней погоде, о сене, о земле. Потом разбредались спать.

Так прожили на пустоши целую неделю. За это время Прокловы поставили три больших стога и наклали воз сена. Стога обнесли пряслицами - от лосей, которые тут, говорили, водятся, а с возом отправились назад. Дядины, Сиротинины, Коломейцевы, Иванмарьины...

Плыл обоз из сенных возов через лес дремучий, потом мелколесьем да мимо той низинки, в которой прозрачное озерцо стояло, а теперь ушло; Ванюшка сидел наверху - над ним небо в пухлых облаках, под ним воз колыхался, словно корабль в зеленом лиственном море.

Вот эту поездку и помнил потом Иван Проклов, как самое дорогое в жизни. И при раздумье, было ли

у него счастье, непременно вспоминал о тех днях. Даже на фронте память чаще воскрешала перед ним не картины родной деревни Вёски, а картины той пустоши, земли желанной. При случае солдат Проклов рассказывал:

- Речка там текла... говорливая такая! Сядешь, бывало, на берегу, а она журчит, журчит... словно разговаривает. Даже слова можно разобрать, ей-богу.

В Вёсках ни речки, ни горок, ни оврагов, ни леса - ровная земля, вокруг поля да поля, лишь грязный прудик на окраине - хоть и родное место, а похвалиться нечем.

- Помню, поднимаюсь по косогору от ручья, за ёлочки вышел - зайчонок сидит в траве, притаился. Я к нему, а он прямо из рук у меня - прыг! - и убежал. Я от досады в слезы!

И слезы те радостно было вспомнить.

С войны Иван Проклов возвратился со шрамами на плече и на животе, с контузией, поразившей его чуть ли не в день победы. Та контузия повлияла на характер его, отняв прежнюю веселость; отразилась и на внешности, так что родная мать и родная жена испугались, когда увидели его в день возвращения.

Ну, руки-ноги целы - должен работать. Поставили Ивана бригадиром. А какая бригада в Вёсках, если тут всего девять домов?

Иван сам ремонтировал телеги, чинил упряжь, крыл соломой единственный сарай и конюшню, сам

косил и пахал... Если не он, то кто?

Мужиков, кроме Ивана Проклова, в Вёсках не было. То есть был еще один - Василий Смирнягин, но он доживал последнее: правой руки и правой ноги нет, полчеловека всего, полмужика. На девять домов - полтора десятка более или менее трудоспособных, все женщины, молодые и не очень, - Иван звал свою бригаду «бабьим взводом»; остальные - ребятишки, не скоро подрастут.

К деревне Вёски, как сказано, со всех сторон подступали поля, обработать их «бабий взвод» своими силами не мог - приезжали из Ивантеевки, с которой Вёски составляли один колхоз. Оно бы и ничего, и шла бы жизнь, как везде, может, даже где-то и похуже было, но главная беда Вёсок - лугов нет, скотину выгнать некуда и негде накосить сена. Корову прокормить - как? Даже козу - как? Потому так часто разговор о деревенских делах Иван сводил на дорожное ему воспоминание:

- Помню, ездили мы с батей на пустошь... вот где раздолье! Вот где благодать!

Он тотчас преображался, едва только произносил это слово - «пустошь»; мрачное лицо его светлело.

- Так это когда было! - возражали ему. - При единоличном хозяйстве. Теперь поди-ка... и заведенья такого нет, чтоб на пустошь ездить.

Начинался самый желанный, самый заветный для Ивана Проклова разговор. Он не ходил торными

тропками, рассказывая о пустоши, а торил всякий раз новую, добавляя приятных подробностей. Послушать его занято было и утешно, особенно в горький день.

- Речка там чистая-чистая - воду черпай и пей, - говорил он. - Вода холодная, зубы ломит - видно, донные роднички бьют. Вот она вьется-вьется так, и бочаги по руслу, будто бусы на нитке... а в бочагах щурята шныряют.

- Дак, глубока? - спрашивали у него.

- Нет, не глубокая, - отвечал он. - На лодке не плавать. Только что бочаги вдоль по руслу бездонные. А вот если б перегородить запрудой, водохранилище сделать - тогда можно и карасей разводить, и гусей-уток, и ребятишкам купаться... Да что! - воодушевлялся Иван. - Даже мельницу можно поставить или маслобойку.

Его слушали одни скептически, другие доверчиво.

- Лес там всякий, - рассказывал он в другой раз. - С одной стороны, помнится, сосновый бор на много километров. Войдешь в него - будто храм. Сухостою много - вот те и дрова. И брусничники, и черничники...

- Говорят, в той стороне за ягодами с бельевыми корзинами ходят, - добавляли Ивану.

Он охотно подтверждал:

- Ягод там - необеримо. Про грибы и не говорю: за грибами впору на телеге ездить - так их много. Маслята да сыроежки за съедобные не считали, их ногами попинывали.

- Да уж скажешь! - недоверчиво посмеивались слушатели. - Так уж и попинывали?

- Ей-богу, не вру! - мрачно божился Иван. - Зачем краснушки да дуплянки брать, когда рыжиков да груздей тьма-тьмущая!

- Груздь да рыжик - грибы царские, - соглашались с ним.

И в другой раз возникал этот разговор, как продолжение прежних.

- То-то и оно: где лес, там, сами понимаете, и жерди да колья для изгороди, там и бревнышко можно взять.

- Дак, лес-то государственный, его стерегут, - напоминали ему. - Кто тебе позволит дерево повалить?

- А я что говорю? Ничей, что ли? Знамо, государственный. Да ведь у нас и земля государственная, но мы вот ею пользуемся. Так и лес. А его там много... Если б три сосны стояли на-особицу, то о дну спиличишь - сразу видно. А если бор на десяток километров? Кто заметит? Некому замечать! Вольготно там, - заключал он.

- Государственный лес пилить - за это по голове не поглядят, - опасливо говорили собеседники... вернее, собеседницы. - Этак недолго и в тюрьму...

- Договоришься с лесником - он тебе за бутылку отдаст целый гектар под вырубку.

Если б он с улыбкой говорил это, кто б ему поверил! Но Иван был сердит, даже мрачен и тем

убедителен.

- Уж так бы надо мою избу подрубить, - вздыхал кто-нибудь. - Нижние венцы совсем выкрошились, сгнили - изба покосилась, того и гляди, упадет. Даже подпереть - бревна нету. Не колышком же подпирать!

- И дрова, и бревна, и грибы-ягоды... - твердил Иван словно в забытьи.

Разговор о той пустоши, о ничейной земле, неведомо почему-то не населенной и никем не принятой во владение, пробуждал хорошее чувство в душе, отодвигал горести, внушал отрадную надежду.

- Что же там, и деревень нету? - недоумевали Ивановы собеседники.

- Это на границе областей, - объяснял он. - Туда дорог не проложено, потому и начальство не достигает. Да и дела ему нет - по задворкам области ездить! А дорог не построили по той же самой причине: полоса нейтральная, как на фронте между нашими и немецкими окопами.

Это было просто и объяснимо: на стыке областей от ротозейства начальников бесхозная земля - руки у них до нее не дотягиваются. Авось там и с налогами послабже, и на заем подписывают не так строго. А самое главное: есть и выпасы для скотины, есть где сена накопить и под огород можно отхватить побольше.

- Земли там много! - говорил с воодушевлением

Иван. - Мы тогда приехали на шести подводах, разделились - каждый сам себе хозяин. Заняли такие покосы - ого! И никто нам ни слова. А потому что некому вякать, некому указывать, никто не стережет.

Зимними вечерами сходилась деревня Вёски в избу к кому-нибудь посудачить, посумерничать. И всякий раз немедленно возникал разговор о пустоши: мол, по-разному живется людям в разных местах и где-то уж непременно полегче. Небось, там, где ни председателей, ни уполномоченных, ни секретарей, ни иного какого начальства. А раз на пустоши такого зверья не водится, то чего же лучше!

Летними вечерами присаживались под окнами на завалинке - опять же разговор о пустоши: небось, там было бы все иначе, не столь безотраднo.

- Вы только представьте: тут одно за одно заходит и одно другое подталкивает, - рассуждал Иван, а вид у него был при этом мрачен, даже свиреп, но и воодушевлен. - Бывает, собьется человек с круга, ну и пропал. И наоборот так же: деньги, известно, к деньгам идут. Если, скажем, сена много, выпасы есть, то почему скотину не держать? И корову, и овец, и теленка. А если земли много незанятой, так посади картошки, свеклы, брюквы - поросенка откормишь, а то и двоих. И при молоке будешь, и при мясе, и шерсть тебе на валенки, и овчина на тулуп. Это ж за год-два подняться можно! На базар теленочка или пару овец отвез - там купил и обувь, и одежду. Одетого

да обутого и болезни не берут, а сытый да здоровый работает вдвое, потому и достаток. Говорю: одно к одному, деньги к деньгам. Опять же: изба у тебя крепкая да натоплена, в подполе кадки с огурцами, да грибами солеными, да с моченой брусникой... Как поднимешься раз да окрепнешь - кто тебя повалит? Валят слабых да больных, как мы теперь...

Слушатели вздыхали, иногда роняли словечко на вздохе:

- Конечно... Если б так...

Василий Смирнягин, выбиравшийся иногда из дома посидеть при таких разговорах, молчал; потом с глазу на глаз говорил Ивану:

- Сказки рассказываешь... как глупым. Про пустошь.

- Ты что! Я сам видел! - горячился Иван Проклов. - Своими глазами видел, своими ногами там ходил. Мы с отцом за неделю воз сена насушили и три стога поставили! За неделю! Мужик да парнишка. А что ж - травы по пояс. Конечно, буераки да ямы, но полян много. Зимой отец за теми стогами ездил - никто их не украл, только лоси маленько пощипали снизу. А почему чужие не увезли? Да потому что у всех сено свое есть.

Так убежденно говорил Иван, что и Смирнягин начинал верить.

- Ладно, - согласился он. - Может и в самом деле...

- Верно говорю!

После того, как в Вёсках сгорел сенной сарай, за что бригадира чуть не засудили, он ту пустошь иначе, как обетованной землей и не называл.

- Истинно говорю вам: там земля обетованная.

Тут надо сказать, что в эту пору Иван Проклов стал почитать Библию, которую нашел на чердаке собственного дома спрятанной. Сначала-то обрадовался - козьи ножки стал из нее крутить. Больше-то не из чего! Газет в Вёсках не получали. Но перед тем, как покурить, прочитывал все написанное на оторванном клочке. А потом и вовсе книгу рвать перестал, завернул в чистую тряпицу и положил на грядку под матицей. А читал перед сном понемногу, при этом много размышлял. В эту пору и появилось у него присловье «истинно говорю вам». Да и вообще в строе его речи произошли некоторые изменения: матерных слов стало меньше, а больше осмысленных.

- И вот что я вам скажу, - заявил он однажды своему «бабьему взводу». - Бросить надо все да уехать на пустошь и поселиться там. По новине и картошка и рожь охотней растут.

Его подняли на смех:

- Эва как у него просто! Взял и уехал.

- А что?

- Да ничего. Избы-то наши как? Хозяйство-то?

- Ну и сидите тут со своим дырявым хозяйством, как лягушки в пруду, - в сердцах отвечал он,

помрачнев еще более. - За то и дразнят нас «лягвами».

Посмеялись раз, посмеялись и еще, когда опять Иван завел тот же разговор, что-де надо переехать на жительство туда, где пустошь; а в третий раз отнеслись уже серьезно.

- А и в самом деле, бросить все ко псам да и уехать на пустошь.

Иван понял, что слова его пали на душу людям, как зерна на добрую почву, - дали уже росточки.

- Что вам эти избы! - жарко уговаривал он. - Запалить каждую с четырех углов!

- Зачем запаливать, - возражали ему рассудительно. - Вон ивантеевские на дрова купят. Только предложи.

- Поживем пока в землянках, - говорил Иван. - Не бойтесь, я всю войну по землянкам... Я вам такие сделаю - ни сверху, ни снизу вода не потечет; и тепло будет, и сухо. Там такие сухие места!

«Бабий взвод» с надеждой и воодушевлением смотрел на своего командира; «бабий взвод» уже всецело верил ему.

- Смущаешь народ, - постанывал, побряхтывал рассудительный Смирнягин.

Но кто с ним считался? Кто его слушал, если он и не мужик вовсе, а лишь полмужика! Иное дело - Проклов.

А Иван живо представлял себе утешительную картину: вот вёскинские собираются, обоз из шести

подвод (четыре лошади, два быка, больше тягловой силы нет) трогается из деревни. Ну, конечно, бабий плач и причитания, без этого не обойтись. Он, Иван Проклов, ведёт под уздцы первую лошадь, на телеге домашний скарб его: сундук с добром, постели навалом, кадки да табуретки...

«Не уместятся на одной подводе, - сразу заопасался он и тотчас уговаривал себя: - Да нечего всякое барахло на новое место везти! Там всё само собой заведётся. И лавочки да скамеечки, и лохани да бадеечки - есть из чего делать!»

Лучше бы трогаться в путь под вечер, чтоб всю ночь ехать - поменьше любопытства от встречных: мол, что такое - вся деревня переселяется неведомо куда. И к утру, глядишь, уж прибыли бы на место. Солнышко встало - они, вёскинские, уже расположились табором, оглядываются окрест: травы по грудь, жаворонки в небе, речка журчит-плещется, грибы-ягоды в лесу.

Если это ранней весной - сразу огороды надо возделывать. Некоторое время в шалашах пожить, потом в песчаном откосе, где камушки разноцветные, вырыть землянки, а зимой за строительство домов можно браться. Конечно, год-полтора придётся пожить в землянках. Зато потом, в своё время, и жильё своё будет, и в огороде всё, что надо; и скотина на лугу, стога на лугах, поленицы дров в несколько рядов возле каждого дома, верши в омутах...

Много чего можно вообразить себе! Но разве это пустые грёзы? Разве под ними не было крепкой основы? Он сам был на той пустоши, видел её собственными глазами.

Иван понимал: надо поступать не с бухты-барухты, а с умом, оглядисто. Потому после очередного задушевного разговора о пустоши сказал:

- Ладно, вот посевную закончим, и пойду я в ту сторону на разведку. Узнаю, как и что.

Решение его «бабьим взводом» было воспринято одобрительно.

- В самом деле, Иван, сходи. Есть ли туда дорога-то? Может, не пройти и не проехать?

Кто-то добавил робко:

- Может, и нет той пустоши? А мы тут языки чешем.

- Как это нет? - оборвал Иван строго. - Куда она делась? Под землю провалилась или на небо вознеслась?

- А коли есть, сказали ему, - то и в самом деле перебраться бы туда. И птица всякий раз новое гнездо вьёт, не живет в старом. А человек - Божья тварь, ему сам Бог велел. Рыба ищет, где глубже, человек - где лучше.

- Вы только не болтайте языками, - предостерёг Иван. - А то нас опередят. Охотников до вольной земли много.

Сказал так, а подумал другое: не пронюхало бы начальство, что затевается в Вёсках.

- Не отпустит председатель колхоза, - говорили сомневающиеся. - У нас и паспортов нет, а без паспорта как?

- На черта нам паспорта? - горячился Иван. - Кому их показывать там? Медведю? А что до председателя, то мы и спрашивать его не станем. Переселимся, и всё тут. Переселение - не воровство, на это уголовной статьи нету.

- А тамошние власти разрешат?

- Да говорю же вам, что нет там никакой власти! Край области! Ни с той, ни с другой стороны начальство не дотягивается. А пока налоговые райкомовские инспектора да инструктора до нас доберутся, мы уж на ноги встанем: у нас коровы, овцы, утки-гуси...

Как это ни странно, идея с переселением на пустошь постепенно овладевала деревней Вёски.

Василий Смирнягин в эти дни послал за Иваном жену свою.

- Не протянет долго, помирает, - сказала та у Прокловых. - Попрощаться хочет.

Иван с Василием всю жизнь прожили в Вёсках. Мальчишками дружили, парнями соперничали, на войну ушли в один день, но вот Ивану повезло: хоть и ранен был, и контужен, но руки-ноги целы. А Смирнягин лежал - под одеялом угадывалась лишь

половина тела да голова на подушке. Один умирал, а другому оставаться, значит, в ответе за деревню Вёски.

- Ну, что? - спросил Иван у друга-приятеля.
- Плохо дело?

- Плохо... Но я не потому тебя позвал. Смущаешь ты народ, сманиваешь... Я б не против, но... предупредить хочу: не похвалят тебя за это, имей в виду.

«Не похвалят» означало не просто грядущее отсутствие похвалы, а наоборот: неизбежное наказание.

- За что?

- Как тебе сказать... Самовольство и самоуправство - за такое знаешь что полагается? Государство стоит крепко, если население дисциплину соблюдает. Это как в армии: она духом сильна, строгим порядком. А если каждый будет поступать по собственному разумению да хотению - развалится хоть армия, хоть государство. Дисциплина - она как обод на колесе, как обруч на кадке. Не будет обода и обруча - развалится, рассыплется.

- Нет, не так, - мотнул головой Иван. - Государство должно делать всё, чтоб человеку жилось хорошо. Оно как пастух у стада: умный пасёт там, где травка повыше да водичка посвежее, а глупый только хлопает кнутом да орёт дуром. И генерал должен о солдате думать, а не о себе. Нам должны сказать: вот что, бабы

и мужики, у вас в Вёсках земля скудная, лугов нет, поезжайте вы на пустошь, на свободную землю; там есть всё для вольной жизни, живите и работайте. Но о нас никто не думает, значит, мы сами о себе должны позаботиться.

- Как ты не понимаешь! - Василий долго кашлял, едва оклёмался. - Есть органы... они тобой заинтересуются: куда зовёшь народ? Имеешь ли такое право? Скажут: кулацкий хутор решил организовать.

- Брось, Васька, - мрачно сказал Иван. - Мы маленький колхозишко там устроим и будем жить-поживать да добра наживать. Встанем на ноги - все налоги заплатим. Кому от этого плохо? В том-то и дело, что всем будет хорошо: и государству, и нам.

- А вот попомни мои слова.

- Ты, Васька, жизнь прожил и всегда всего боялся.

- И ты тоже.

- Я тоже, но не так. Ты ныне должен быть храбрей меня: над тобой теперь только один начальник - Господь. Вот его и бойся.

- Так, - смиренно согласился Василий. - Он, поговаривают, строг к людишкам. Он спросит!

Вроде поссорились они в тот день. Но нет, не таковские, чтоб обиды друг на друга держать. И когда Иван уходил, Василий опять за своё:

- Не смущай народ, прошу тебя... не мани... несбыточно то. А бабы – народ глупый, как курицы.

- Мой грех, мой и ответ, - отвечал ему Иван

от двери. - Зато, коли получится по-моему, мы из простых людей выйдем в козырные, а там посмотрим. Ты не умирай, погоди. Мы тебя на хорошем месте похороним, на новом. А может, на пустоши-то и оклемаешься ещё.

И вот, покончивши с посевной, Иван собрал котомку и, не особенно распространяясь в объяснениях, куда направляется да зачем, пошёл в ту сторону, где должна была быть пустошь. Дороги он не знал, лишь направление, но ведь пустошь - это не полянка в лесу, а как бы край земли, мимо не проскочишь.

Отправился он вечером, хотя жена отговаривала его: мол, лучше бы утром.

- Нет, я по холодку.

К полуночи он дошагал до реки, где по-прежнему паромная переправа была. Долго звал паромщика, наконец, добудился, и тот приехал за ним на лодке.

- Куда тебя черти несут, на ночь глядя? - буркнул он.

- К теще на блины, - ответил Иван, чему-то улыбаясь.

- Хорошее дело.

От перевоза Иван поднимался в гору, словно к звездам, угадывая в темноте дорогу. Его посетило то прежнее детское чувство - радость, переходящая в

восторг. Он вспоминал тот день, когда ехал на пустошь, - скрип и погромыхиванье колес, фыркание лошади, голос отца, сидевшего, свесив босые ноги, с вожжами на коленях, и себя, весело бегущего за телегой.

Тут случилось с Иваном нечто такое, о чем никому не смог бы потом признаться: он сел на обочине дороги и разрыдался. Никто его не видел, ночь немо царила вокруг, а он сидел и плакал. Звезды расплывались и дрожали - Иван смотрел на них сквозь слезы... Наконец, встал и пошел дальше.

В дороге думы о предстоящем были неотступны: Иван выбирал место для своего дома. Пожалуй, надо строиться не там, где они с отцом ночевали под телегой, а ближе к лесу: тут ручей делает петлю, родничок бьет из-под берега, огород спустился пологим скатом, захватывая в этот родник и старицу ручья. Вот благодать!

Дом Прокловых будет стоять на возвышении, весело глядя окнами на солнечную сторону, задом к лесу. А вся деревенская улица - будущие Вёски - расположится вдоль низинки, чтоб ручей поил огороды. Выгон для скота будет вниз по ручью, а под пашню пойдет более возвышенная часть; она небось, поросла мелким лесом - так что ж, можно раскорчевать.

«Ничего, - говорил себе Иван, - глаза боятся, руки делают».

Под утро на окраине какой-то деревни он

устроился поспать: тут рига была, у стены ее лежала охапка прелой льняной тресты. Проснулся - мимо шло деревенское стадо. Пастух удивленно посмотрел на спящего возле риги чужого человека, но ничего не сказал.

На проселке Ивану попадались иногда встречные пешие или подводы. Он вежливо здоровался и, наконец, решился спросить про пустошь: не ездят ли, мол, туда за сеном. Никто ему толком ничего объяснить не смог. Иван перестал спрашивать, шел и шел.

На пути ему попала еще одна деревня, и он узнал её - это была та, где кузнец натягивал кому-то из вёскинских на колесо обод. У крайнего дома молодая еще женщина пыталась расколоть здоровенный пень и никак не могла одолеть его. А уж измучилась, топор то и дело застревал в расщелине пня, она с усилием вытаскивала его и опять замахивалась.

Иван не вынес этого зрелища, мрачно подошел и, ни слова не говоря, отобрал у нее топор. Отобрал, примерился и ахнул по пню изо всех сил, тот расселся надвое. Не глядя на хозяйку, Иван расправился и с этими половинами. А когда оглянулся, она смотрела на него, вытирая концом платка слезы; лицо ее было сердито.

- Чего ревешь? - спросил он.

- Со зла, - отвечала она.

- Не бабье это дело - кряжи такие колоть.

- А то ли я без тебя не знаю!

Он хотел сказать: мол, этак рожать не сможешь, но прикусил язык: небось, нет у нее мужика, потому и колет сама.

- Не помню, как называется ваша деревня, но знаю, что кузница у вас есть. Так?

- Кузница была, да сгорела, - отвечала баба, почему-то вздохнув. - Давно уж... еще до войны.

- А кузнец где?

- Который?

Иван сообразил, что кузнечонок мог уже вырасти в кузнеца, пояснил:

- Я проезжал однажды тут... парнишкой еще был. А кузнечонок «лягвой» меня дразнил.

- Ну, так это мой муж, - сказала баба.

- Чего же тогда он дрова не колет? Жену не бережет.

- Берег бы... кабы жив был.

- Ясно, - отозвался Иван.

Он спросил у нее про пустошь. Женщина сказала, что это в той стороне, и показала рукой. Тут к ним девчонка подошла лет десяти. Мать велела ей принести из избы кринку молока. Иван от молока не отказался.

Пока разговаривали, узнал, что председатель в этой деревне шибко пьет, что на трудодни в прошлом году дали по триста граммов («Неплохой колхоз», - мимолетно подумал Иван), а картошка уродилась

хорошая; и выгон для скота есть, но травка худа, скудна, не успевает подрастать...

Тут ударили где-то за домами в рельс - это значит, звонок на работу, и женщина заторопилась. Попрощались, и Иван отправился дальше.

Теперь он уж точно должен был выйти на пустошь. Но скребло что-то на душе, скребло... Впереди показалась еще одна деревня. «Маленько правей надо забирать», - подумал Иван и стал забирать правей.

Просёлок, по которому он шёл, углубился в мелколесье, временами терялся вовсе...

Через час или полтора пути настиг Ивана дождь. Этот дождь подобрался по небу крадучись и посеял, посеял... Да и ветрено вдруг стало, холодно.

Большого дерева поблизости не оказалось, Иван укрылся под молодой березой, но она не спасала его. Он почувствовал, как промокает спина. А туча наехала не из тех, что окропит да и удалится - эта готова была дождить и дождить.

Иван перешел под другое дерево, но и там было не лучше. Надо было вернуться в ту деревню, где угощали молоком, но, признаться, Иван заблудился немного, не знал теперь, в которую сторону идти. Кругом лес да лес, и небо низко, солнце не проглядывает. Он сел на корточки, поднял воротник пиджака, втянул голову в плечи и замер.

Но что сидеть! Дождь был неумолим, сеял и сеял. Иван выбрался из-под дерева и не очень уверенно

пошел по дороге, едва угадываемой. Мокрые пряди волос липли ко лбу, одежда намочила и тоже облипла тело.

Он спустился в низину - там шумел ручей. Может быть, это была та самая речка, которую он искал, но Иван не узнал ее: не было бочагов.

Наконец, ему встретилось хорошее дерево - раскидистая ель. Иван встал под нею, уныло поглядел на небо: тучи шли низко, грядами. Дождь то затихал, то припускал вновь. Уже смеркалось. Подумалось: «Придется ночевать».

Он наломал молодых берёзок, соорудил шалаш, улегся на мокрую иглистую землю, сжался в комок.

«Ничего, сейчас согреюсь...»

Иван Проклов отсутствовал в Вёсках целую неделю. В деревне часто вспоминали его, поглядывая в ту сторону, куда ушел. Погода установилась неласковая: сиверко дул, по-осеннему кропило землю.

К Иванмарьиным пришла погостить родственница-богомолка, что прислуживала в церкви где-то далеко от Вёсок; она сказала, что Проклов Иван Макарыч, подобно библейскому Моисею, отыщет землю обетованную и приведет туда свой вёскинский народ, который теперь томится в неволе.

- Наверно, ему слово было от Господа, - предположила она, - потому и пошел он.

Жена Ивана отрицала таковое: если б муж имел поручение от Господа, то уж верно, от неё не утаил.

- Он ничего мне такого не говорил, - растерянно повторила она.

- Это дело не семейное, - строго отвечала ей богомолка. - Он и не обязан тебе докладывать.

Несмотря на высокое предназначение Ивана, жена его плакала и ждала какой-то беды.

Предчувствие ее не обмануло: на исходе недели муж вернулся, но не своим ходом - его привезли какие-то незнакомые бабы, которых, судя по всему, он и сам не знал; просто они ехали по дороге и увидели, что мужик сидит на обочине, сам не свой, не пьяный - больной, совершенно без сил, в полубреду. Вот они его и довели.

Иван дышал часто, как овца, и был красен, словно только что выбрался из парной. Ничего связного рассказать он не мог, да к нему и не приставали: не до того. Послали в Ивантеевку за медичкой, она пришла только на другой день, велела везти его в больницу.

Иван Проклов умер там через несколько дней от двустороннего воспаления легких.

Говорили потом, что на мертвом лице Ивана была улыбка, словно он нашел-таки свою обетованную землю, которую именовал пустошью.

А деревни Вёски теперь нет. На этом месте просто дорога, недавно заасфальтированная, и по обе стороны от нее поля. Ни вёскинского пруда, ни

колодца. И жители куда-то пропали, словно разнесло их ветром.

Хорошо, если каждый из них переселился на пустошь, о которой рассказывал Иван Проклов, вёскинский бригадир, - неважно, близко ли, далеко ли, но лишь бы она была у каждого из нас в этой земной жизни.

1994 г.

ПРИВЕТ, СТАРИК!

ПОВЕСТЬ

Я открыл дверь и оторопел... я онемел: передо мной стоял Комраков... умерший уже несколько месяцев назад.

- Привет! - сказал мой гость бесцветным голосом и почему-то нахмурился: наверно, ему не понравилось выражение моего лица.

Я немо отступил в прихожую, и он вошел. Сразу стало тесно - прихожая у меня не для таких крупных фигур, как мой друг Комраков: в нем, ведь, никак не меньше ста килограммов - корпусный мужик!

- Привет, - запоздало отозвался я.

Помятая кожаная кепка его была сдвинута на лоб, так что узкий козырёк нависал над квадратным комраковским лицом. Он снял её, поискал глазами, куда повесить, спросил:

- Где тут у тебя?

В сумрачной прихожей вешалку не сразу разглядишь. Я принял от него кепку, положил наверх.

- Разденусь, если ты не возражаешь, - сказал он ворчливо.

Живой... А о нём некролог был, и не где-нибудь - в центральной газете, в «Известиях»:

портрет, сделанный в лучшую пору его жизни, над портретом крупным шрифтом: «Памяти Геннадия Комракова», под ним скорбный текст.

Вошедший ко мне живой Комраков был небрит, имел нехороший, темный цвет лица и дышал затруднённо - хрипы в бронхах: значит, опять нездоров. В последние годы я уже привык к тому, что он почти всегда болен. Если, конечно, уместно в данном случае говорить о привычке.

Именно таким я видел его в последний раз. В тот день я пришёл повидаться с ним, что делал всегда, приезжая в Москву. Он выбрел ко мне в прихожую - именно выбрел, а не вышел - ступая мелкими шажками, крепко стуча палкой... Явление его передо мною изумило меня тогда до крайности.

- Комраков! - возмутился я. - Ты с клюшкой! Постыдись.

И прикусил язык: вид моего друга был ужасен.

- Проходи, - выговорил он обессиленным и хриплым голосом и стал поворачиваться, чтоб идти назад. Повернулся в несколько мелких шажков, переставляя словно бы деревянные ноги, и побрел, а палочка в пол стук, стук. Как по крышке гроба. Он не опирался на нее, а держал наготове, опасаясь, что вот-вот может упасть, и всякий раз крепко стучал ею в пол.

Нынче же он выглядел чуть бодрее, и был уже без этой подпорки, но все равно больной человек,

сразу видно.

- Разве там дождь? - спросил я, вешая его куртку; сверху она была мокрой.

- Вроде бы... или снег.

На дворе поздняя осень, вполне может быть и то, и другое.

- Ты один? - спросил он.

- Да.

- А где Катя?

- Ушла в магазин.

Голос мой прозвучал оробело, словно я осознал свою обреченность: я один, и ко мне пришел такой гость.

- Тапочки дашь?

Спрашивал он как-то механически, не выражая ни радости от нашей встречи, ни досады, ни скуки - ничего.

Я терпеть не могу комнатных тапочек, особенно шлепанцев, хожу обычно в вязаных носках - это если зимой. Когда носки прохудятся на подошвах, сам их штопаю, сидя перед телевизором и слушая новости об очередных забастовках, о межнациональных конфликтах, о коррумпированности верхних и нижних эшелонов власти и прочее. Прочего тоже много, всего и не переслушаешь: катастрофы, уголовщина, эпидемии... Такое наступило время.

Тапочки должны были быть в угловом шкафу, где свален всякий необходимый в хозяйстве хлам: обрезки

линолеума, моток льняной бечевки, початые банки с водоземлюсионной краской (время от времени подбеливаю стены в кухне и ванной), малярные кисти и прочий инструмент. Искал я торопливо, то и дело оглядывался: да, это Гена Комраков пришел ко мне. Именно он, нет никаких сомнений. Но он умер три месяца назад!.. и некролог о нем был...

- Слушай, а кто это тебя так приложил в «Известиях»? - сказал я возмущенно. - Как это понимать? Ради хохмы, что ли? Или случился грандиозный газетный ляп?

- А-а, - безразлично произнес он и произнес еще что-то, похожее на слово «напутали»; я не расслышал.

«Центральная газета, ведь! - недоумевал я. - Что за шутки! За такое в порядочном обществе бьют пивными кружками по головам».

Я дал моему другу шлепанцы, он с усилием стал снимать сапоги, упираясь руками в стену и наступая одной ногой на пятку другой.

- Как ты живешь! - ворчал он при этом. - Даже скамейки в твоей прихожей нет.

- По средствам нашим, - неопределенно сказал я, - и по нуждам.

Ему трудно было нагибаться, словно вместо позвоночника вставлен в его спину металлический стержень, причем не прямой, а изогнутый коромыслом. И в пору нашей литинститутской молодости - это значит, четверть века назад - Комраков был заметно

согнут, а голова так плотно посажена на плечи, что оглянуться он мог, лишь повернувшись всем корпусом, как статуя.

Еще тогда я услышал от него пахнущее лекарством слово спондилёз, а прозвучало оно так, словно это награда за трудовые подвиги, вроде ордена.

- Да было дело... на Севере. Пришел караван судов, баржа села на мель недалеко от порта - я тогда с геодезической партией работал. Стали набирать добровольцев: кто полезет в воду - ящики с баржи на берег носить. А уж октябрь, вода ледяная. Вызвался я да еще один... вроде меня. Пообещали нам, дуракам, бачок спирта, вот мы и старались... Хребет застудил. Ну, ничего! Зато все остальное в норме!

Я принес в прихожую стул. Гость мой сел и разулся, надел тапочки.

Голова его уже не похожа была на голову Гены Комракова в пору нашего Литинститута: тогда он имел буйную кудрявую шевелюру, мог не причесываться по неделе - все равно красив; теперь поседел и не кудряв уже, а просто встрепан; пегие пряди торчат в разные стороны - нет, не ухарь-мужик с Алтая, а просто больной старик.

- Проходи сюда, - пригласил я, распахивая дверь из прихожей в комнату.

Гость прошел и сел на диван - грузно сел, как повалился.

При нашей последней встрече, забредя в свой

кабинет, Комраков в несколько шажков развернулся задом к креслу, стал медленно сгибаться, потом плюхнулся в него всей тяжестью, обессиленно откинул голову. Мне показалось тогда, что от этого действия - просто сел в кресло! - он на секунду-две потерял сознание.

Там, в Москве, ведя с ним последний разговор, я не мог совладать с нарастающим ужасом: я осознал вдруг, что смерть стоит рядом с ним, она пасет его. Будто тень ее крыла осеняла нас обоих, и меня тоже, отсюда и ужас, шевеливший мои волосы. Тогда я смотрел и не узнавал своего друга.

«В этом человеке уже нет Гены Комракова, - билась растерянная мысль. - Он уже ушел от нас».

Осталась лишь телесная оболочка, материальная форма его; а то, что было собственно Комраковым, уже улетело.

- Как ты оказался в моем городишке? - спросил я. - Извини, не ждал...

Непринужденный тон давался мне с трудом. Словно бы расслоение сознания наступило у меня от этой очевидной нелепости: вот живой человек, а вон на письменном столе тетрадь моего дневника, в ней вырезка из газеты...

- Да ты хоть видел свой некролог? - спросил я, досадуя: кто это над ним так зло подшутил?

Ведь написали о живом: «Не стало Геннадия Комракова. Тяжкая болезнь унесла на 59-ом

году жизни талантливого человека, долгие годы связывавшего свою журналистскую судьбу с «Известиями»...» и так далее. И портрет его - ТОТ еще портрет, из ТОЙ поры, столь мне дорогой – в колоночке газетной.

- Да... написали вот... в скорбном жанре... свои подсуетились, - говорил он, оглядывая скромное убранство моей квартиры, - книги на полках, фотографии на стене. - Мне-то все равно, а им не объяснишь, особенно из гроба. Звонили, бегали... У шефа решали, в каком виде тиснуть на газетной полосе и надо ли: невелика, мол, шишка. Да мне-то... но мои хотели, чтоб все было путём.

- Ничего не понимаю, - пробормотал я.

- Ладно, старик, - немножко оживился Гена. - Ты не напрягайся. Посидим, поговорим, как в старые добрые времена, по-литинститутски, а? Я почему-то с тобой вот захотел потолковать. И Олег Пушкин, и Генка Васильев - те другие, без комплексов, с ними все ясно. А ты комплексуешь на почве сексуальной неудовлетворенности.

Вот теперь он стал похож еще больше на прежнего Гену. Тот не упускал случая для подобных шуток.

- Ты в командировке, что ли? - спросил я.

- Нет... Просто повидать тебя захотелось, - сказал он с неожиданной теплотой в голосе. - Посидеть, потолковать - как на творческом семинаре.

Меня это тронуло.

- Чем тебя угостить? Водка есть... - я открыл дверцу в буфете, глухую, без стекла, - так называемый бар. Ну, громко сказано - «бар» - но бутылка водки там стояла. И рюмки. И даже почему-то апельсин.

- Мне нельзя, - сказал он и закашлялся.

- Плохо себя чувствуешь?

- Как тебе сказать...

- Тогда я заварю чай.

- А кофе нет?

- Кофе я не пью, старик, ты знаешь. Но могу сходить к соседям, авось у них найдется.

Я уже отвык от этого прежнего обращения между нами - «старик»; выговаривал неуверенно, подлаживаясь под прежний тон, и боюсь, что получилось фальшиво.

- Не надо, - сказал он, - чего людей зря беспокоить! Давай чаю.

По пути на кухню я заглянул в зеркало: вид у меня был... бледное лицо, сумасшедшие глаза - беспокойство и страх проглядывали в них. Не от сознания страх - подсознательный, глубинный.

В кухне я зажег газовую горелку, поставил чайник на огонь и вздрогнул от чересчур громкого стука чайника о плиту. «Бережно чайником гряну» - вспомнилось. Чья это строка? Гены Васильева? Нет, Паши Маракулина, вятского стихотворца. Какая все-таки смешная фамилия - Маракулин! Я бывало подначивал его: «Как можно с такой фамилией идти

в литературу, старик! Придумай псевдоним. Вон Олегу «посчастливилось» - Пушкин! Он заменил псевдонимом: Ждан. Олег Ждан. Просто и со вкусом. А ты будь хотя бы Акулин. Или Акулинин».

А стихи у Павла хорошие:

*«В миску насыплю зерна, Бережно чайником
гряну,/ Черного хлеба достану,/ Красного вылью
вина...».*

Тут слово «гряну» стоит на своем месте.

Я остановился, медля вернуться в комнату. Не по себе мне было. Не позвонить ли в дверь к соседям, чтобы перекинуться словом? Увижу их и успокоюсь: не сошел с ума. Хорошо б они глянули на моего гостя... Впрочем, не надо.

За окном поздняя осень. На Волге волны с белыми барашками - тревожна Волга. Ветры оборвали уже с деревьев последние листья. По утрам лужи затягивает ледком. Как там у Паши Маракулина...

*«Холодно в доме моем,/ Каркает ворон снаружи./
Пережидать эту стужу/ Лучше, конечно, вдвоем...»*

Лучше вдвоем... вдвоем...

Вернувшись, я увидел, что мой гость стоит перед книжными полками спиной ко мне и внимательно что-то разглядывает. Я не удивился бы, если б этот плечистый грузный мужик, обернувшись, оказался не Комраковым, а просто случайным посетителем.

У меня с ума не сходило: некролог. Не где-нибудь - в «Известиях». Нечего и думать, чтоб центральная газета позволила себе такую ошибку. Но человек-то жив! Или не жив?

Я опасливо встал рядом, глянул сбоку: все-таки это Комраков. Он приехал ко мне в гости - два с половиной часа на электричке от Москвы! - а я пугаюсь, как последний неврастеник. Это неблагородно, это не по-товарищески.

Он всегда был старшим в нашей дружбе, ведущим, и если нужно было нам встретиться, я шел к нему, а не он ко мне. А теперь, вишь, приехал: «Повидать тебя захотелось... посидим, поговорим...»

- У меня тоже это издание, - сказал он, снимая с полки Монтеня, - первые два тома в одной книге. Так и не успел прочитать. А ты?

- Читал.

- Все было недосуг... всегда торопился куда-то, суета всякая. Все казалось: успею! Времени впереди много... Ну и что ты там вычитал?

- Мудрые мысли.

- Ну-ка, хоть одну процитируй, как запомнил.

- У меня плохая память, Комраков.

- Так я и знал: и ты не читал!

- Да читал, читал! Уверю тебя, это произвело во мне необходимую работу.

- Ладно, старик... не смущайся.

Он поворачивал книгу так и этак, словно кирпич,

и неожиданно предложил:

- Погадаем на меня, а? Что выпадет. Назови страницу и строку.

- Сотая, десятая сверху.

Он старательно отлистал в толстом фолианте, прочел:

- *«Философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом».*

- Это ты философ? - спросил я.

- Так написано в этой книге. Ты же сам назвал страницу и строку. Все было честно.

Я позавидовал ему: хорошо выпало. Как выигрыш в лотерее! Человек с чуткой совестью и тонким умом... ишь ты!

- Теперь на тебя давай, - сказал он великодушно: авось, мол, не только ему, но и на мою долю достанется что-нибудь утешительное.

- То же самое, но по Библии, - ревниво сказал я. - Сотая страница, десятая строка сверху в левой колоночке.

Должен признаться, что у меня тут был расчет: я все еще не верил, что это он, живой. И если что-то не так, то Библия его смутит.

Но мой гость спокойно снял ее с полки, сосредоточенно отлистал и прочел с тем же выражением:

- *«... и по ошибке согрешит против посвященного Господу».* Вот так, старик.

Я отобрал у него Библию, проверил, не сочинил ли он на ходу. Все было верно.

- И что это означает, по-твоему? - спросил я, признаться, озадаченный такой многозначительной строкой.

- Мотай на ус, двигай мозгами, соображай. Ты у нас самый сообразительный.

Волнение владело мною!

И как это я промахнулся! Надо было мне гадать по Монтеню, а для Комракова - по Библии. И это я был бы философ с тонким умом, а он согрешающим против посвященного Господу! Всегда ему везло, просто так, ни за что, ни про что.

А Комраков удовлетворенно отошел к дивану и сел уже не с прежним замедленным движением больного человека, а довольно бодро, словно поздоровев. Он стал живее! Но я видел явственно, как бы на своей лобной кости с внутренней стороны четкие буквы газетного текста *«Наш друг Геннадий Комраков ушел из «Известий» по инвалидности семь лет назад, оставаясь автором газеты. Все эти годы тяжелая болезнь терзала его. Но надо знать его характер, его веселый нрав...»* Это был некролог. Его не вырубешь топором.

- Слушай, старик, а почему ты не был на похоронах? - вдруг услышал я.

- На чьих?

- На моих.

Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Причем так, словно он в свое время приглашал меня, и я обещал непременно быть, но обманул, не явился отдать последний долг.

- Я понимаю, - голос Комракова звучал неприятно, обличающе, - обряд этот не в удовольствие никому, но не одними только соображениями приятности следует руководствоваться. Насколько я знаю, именно так ты пишешь в своих романах.

«Вот зачем он пришел! - подумал я. - Взыскать по счету».

- Гена, газета с некрологом попала мне на глаза две недели спустя после... - начал я оправдываться и запнулся, чуть не сказав «после твоей смерти», но вовремя спохватился и нашел другие слова, - после ее выхода в свет. Я решил, извини, что тебя уже похоронили.

- Меня похоронили, - эхом отозвался он. - Но в тот день ты должен был постоять у моего гроба. По долгу нашей дружбы, старик. А ты этого не сделал.

- Откуда же, сам посуди, я мог узнать о твоей смерти? Ты мне ничего не сообщил, даже тогда, когда виделись в последний раз. Небось, предупредил бы: так, мол, и так, намерен помереть такого-то числа, изволь прибыть, похороны на Новодевичьем или Ваганьковском...

Юмор висельника. Но меня извиняли чрезвычайные обстоятельства и глубокое душевное

волнение.

- Как это не знал! - сказал Комраков, не глядя на меня. - Должен был знать, и все тут. А ты уклонился, старик. Я не ожидал от тебя. Олег - в Минске, Генка Васильев - в Оленегорске, а ты ближе всех, в двух часах езды на электричке.

Это был непереносимый упрек. Настолько непереносимый, что я спросил:

- А почему твоя Нина не известила меня телеграммой? Неужели это было так трудно? И сыновья твои тоже хороши: не могли уж...

- Разве они не телеграфировали? - спросил он после паузы и нахмурился.

- Нет.

Мы помолчали. Но разговор был начат, и логика его развития требовала продолжения в новом русле.

- Я понимаю, у тебя много друзей помимо меня, Олега и Генки Васильева, - повел я атаку. - Но мы все-таки составляли наше литинститутское братство, и другого у тебя не было. Ты вспомни, что говорил Тарас Бульба: *«Нет уз святее товарищества! Мать любит своё дитя, жена любит своего мужа... Но это не то, братцы! Любит и зверь своё дитя. Но породниться по душе, а не по крови, может один только человек»*. Или ты жену свою воспитал как-то иначе, и она такого родства не признаёт?

Он молчал.

- Жены часто ревнивы к друзьям своих мужей,

- продолжал я, уже не ради защиты высказывая свою обиду. - В твоей всегда чувствовалась досада, когда мы появлялись. В любом другом случае я её оправдал бы, но тут... подозреваю, что взяли верх неблагородные соображения: твоя семья известила лишь тех, кто ей казался поважнее.

- Ты погоди, - остановил он меня. - Не говори, чего не знаешь. Может, телеграф не сработал...

Это сомнение возникало у меня ранее, и я в свое время сходил на почту: нет, телеграмм для меня не приходило.

Еще раз вернусь к тому июльскому дню, когда по сути дела попрощался с Комраковым. Направляясь к нему, я шел Тверским бульваром и остановился у Литературного института. Обычно я проходил мимо, лишь бегло скользнув взглядом по фасаду столь знакомого дворянского особняка. А тут подошёл, взялся за железные прутья ограды: предчувствие томило меня.

Никого не было на крыльце, а в скверике тоже пусто. Но явственно увидел я нас, толпящихся там: и себя, и Комракова, и Олега Пушкина, и Володю Кавторина, и Павла Маракулина... Тени наши бродили там! Голоса наши отчётливо звучали! И между мною и ими было непреодолимое пространство времени. Мне уже не преодолеть ту ограду и скверик, не соединиться с теми. Что стояли там, у крыльца.

И я отступил со смущенной душой, с сильно бьющимся сердцем, поражённый внезапным открытием: оказывается, жизнь уже прожита, настало время заката, время прощаний.

Это было сокрушительное осознание происшедшего.

Вот с таким настроением я и пришел к Комракову тогда, и увидел его беспомощным, на себя не похожим, как не похожа пустая коробочка улитки на живую улитку; я услышал стук его палки в пол... как по крышке гроба.

Сейчас же мы сидели и разрешали возникший между нами конфликт: я должен был прибыть на похороны моего друга и не сделал этого - почему? чья тут вина?

- Ты всегда стремился подружиться с влиятельными и нужными тебе людьми, - укорил я. - У тебя, бывало, с языка то и дело: мне тот-то сказал... я с тем-то об этом говорил. Мол, ты с ними на дружеской ноге. И Нина твоя ценила только такую мужнину дружбу. Однако, несмотря ни на что, она должна была помнить о своём долге перед нами - передо мной, Олегом и Генкой. Она должна была пригласить нас на твои похороны!

Мы смотрели в разные стороны: я - в окно, мой гость - на моих предков: по деревенскому обычаю я люблю вывешивать семейные фотографии на стену.

- Наверно, закрутилась, - сказал он

примирительно. -хлопоты, сам знаешь... Надо гроб, то да сё.

- Извини, старик, - возразил я безжалостно, - смерть твоя не была для неё неожиданной. Во всяком случае я тогда ушёл, сознавая, что жить тебе осталось недолго. Я даже Олегу написал: если, мол, хочешь попрощаться с Геной, тебе надо поспешить.

- Олег был у меня, - отозвался Комраков. - Он приезжал по своим делам, зашёл ко мне. Но про твоё письмо ничего не говорил.

- А его и не послал. Показал своей жене, та прочла и отругала меня: «Нельзя так о живом человеке!». Я подумал: может, и впрямь ты ещё оклемаешься, выкарабкаешься.

Мы помолчали.

- А я ждал тебя, старик! - сказал Комраков. - Ждал... И ты должен был приехать.

- Да не знал я, Гена! Говорю тебе, что и некролог-то увидел две недели спустя... после твоей смерти. Да и его, по-моему, дали с опозданием: там нет даты, когда ты умер.

Только теперь я поймал себя на мысли о том, какую дичь я несу. О чьей смерти речь, если Комраков сидит передо мной живой?!

- Ты не дрейфь, старик, - сказал он, заметив мою растерянность. - Я, действительно, умер... и меня похоронили. Контора моя не ошиблась, хотя и сочинила хреновый некролог. Да ведь хороший-то

как написать! И я не сумел бы. Даже на самого себя.

Я опять, как и тогда, в его квартире, ощутил некое дуновение, пошевелившее мне волосы и знобким холодком опавшее мою спину.

Я говорил с мертвым моим другом!

- Но ты не думай об этом, старик, - сказал Комраков, поняв моё состояние. - Что нам скорбные дела! Я вообще-то не за тем пришел к тебе, чтоб говорить о похоронах. Давай о жизни.

Лицо его было переменчиво: тени проходили по нему... свет боролся с тьмою.

- Кстати я не смог вспомнить: как мы с тобой познакомились, старик? - спросил Комраков весёлым тоном. - Так сказать, начальную дату, отправную точку. В общежитии или в институте? На вступительных экзаменах я тебя... не помню.

- Я фамилию твою впервые отметил на первом курсе, зимой: Алексей Кузьмич Югов - он был тогда нашим творческим наставником - прислал мне для рецензии твой рассказ «Пункт «Васька»».

- А-а... Неплохой рассказ.

- А я его раздраконил.

- Зря. Для первокурсника совсем неплохо. Его потом напечатали в «Литературной газете» - это было в шестьдесят четвертом году.

- Югов за тебя заступился: мол, напрасно вы так о своём товарище. После чего и рекомендовал твой рассказ в «Литгазету». Следовательно, прочитав мою

критику, он из чувства протеста двинул его туда. А если б я не раздраконил... Соображай, кто вывел тебя в люди. Ты у нас самый сообразительный.

- А что ты там накалякал в своей рецензии?

- Да ты в этом рассказе выпендривался, например, так: «Мы сидим и ждем вечернее зарево». Почему не зарю, а зарево? О пожаре, что ли, речь? Но тебе хотелось закрутить лихо: заря, мол, слишком просто, дай напишу «зарево». Я ужасно возмущался этим!

- Ты позавидовал, старик: я тогда хороший писатель был! Это потом испортился. А «Пункт «Васька»» – почти классика. Он у меня в первый сборник вошел и потом не раз переиздавался.

- Там такие красоты были; «лето пело прощальную песню»... *«дымчатые тучи оплакивали уходящее лето»*... *«кровь скатывалась с бревна и растекалась по влажному мху»*.

- А что? Хорошо.

- По мху «растекалась» - это хорошо? Не серди меня, Комраков, не серди. В гневе я бываю страшен. Там у тебя ещё было: *«хороший человечиче, похожий на гориллу»*, *«скрежетающим голосом»* и прочее. Ну, для меня подобные клюковки – как красная тряпка для быка.

Тут Комраков впервые улыбнулся:

- Ишь, тридцать лет прошло, а ты цитируешь наизусть. Значит, хороший рассказ.

Лицо его просветлело, стало воодушевленным.

- Я в писатели подался случайно... как-то так, сдуру. И в голову раньше не приходило! Жил в Рубцовске, заинтересовался цинкографией - я ведь разными ремеслами овладевал, старик! То кроликов разводил, то еще что... А тут для районной газеты клише стал делать - подрабатывать. И вот пришел однажды в редакцию, а там литкружок заседает... поэты да прозаики местные. Послушал я ихние стишки да рассказы - ну, думаю, так-то и я могу! Написал рассказ - редактор пришел в восторг. Напечатался в областной газете... потом еще раз... там уж меня местные литераторы на заметку взяли, пригласили на семинар начинающих... Вот так, старик, совершалось моё восхождение на Парнас. Это ты родился писателем, а я-то случайно оказался в вашей компании.

- Ишь, случайно... - проворчал я. - Мы-то пешечком на эту горку, своими ножками, смахивая трудовой пот со лба, а тебя возносило ни за что, ни про что, попутным ветром. Тебе пруха и везуха была, вон как давеча с Монтенем. Потому и не дорожил ты тем, что так легко досталось.

А Комраков от моего ворчания сидел довольный такой! Словно я его хвалил. Да ведь это и было ему похвалой.

- Ты и раньше насчет «случайности» выступал, а меня это возмущало.

- Как же, помню: ты у нас по части высшего

писательского предназначения всё распинался... младенческие пузыри пускал. А разобраться - ты просто завидовал мне, старик, - повторил он. - Потому и критику наводил на мой рассказ. Признайся, и тебе станет легче.

- О чём ты говоришь! - возмутился я и теперь, как возмущался тридцать лет назад. - Я сам к тому времени напечатался в «Литературной России»! И в журналах тоже - в «Волге», «Сельской молодёжи». У меня рассказы уже готовились к печати в журнале «Знамя».

- Всё равно я вас всех тогда опережал, - подначивал меня Комраков.

Я сдался:

- С этим я согласен, старик: ты как-то сразу вырвался вперёд. И мы это ценили! Равно как и сейчас я это ценю. Вот тебе доказательство моего беспримерно дружеского к тебе отношения: я все твои письма ко мне сохранил.

- Зачем?! - озадачился он и удивился.

- Я был убеждён, что из тебя получится крупный литературный небожитель, - признался я, - и письма твои следует хранить, как национальное достояние.

- Я не оправдал твоих надежд... Так-так... Ну-ка, почитай что-нибудь, раз уж сохранил.

Я выдвинул ящик стола, достал папку.

- Старик, я всегда знал, что ты порядочный человек, - сказал он, пока я рылся в этой папке, -

но на то, что ты не станешь выбрасывать эпистолы талантливого писателя Геннадия Комракова, я никак не рассчитывал.

- Ты всегда меня недооценивал.

- Извини, старик, больше такого не повторится.

- Вот, по-моему, самое первое твое послание ко мне: *«Привет славному граду Конаково и его соловьиной весне! Матери родной не пишу десять лет писем, а тебе вот пишу. Цени. Вспомнил твою интеллигентную физиономию и решил, что ты именно тот человек, который мне в данную минуту нужен. Ты ведь не чураться интеллектуального труда?..»*

- Это значит, насчет контрольных, - заметил Комраков. - Давай дальше, что там?

- *«Горю вечным огнем неизвестного солдата. До сих пор не послал в институт ни строчки. Долго болел, думал: поправлюсь - займусь. Но заняться пришлось другим делом. У меня была запланирована книжка рассказов на четыре листа, но появилась возможность протолкнуть шесть листов. Теперь лихорадочно копаюсь в своих архивах, переделываю всякое старье, тяну на шесть листов... Словом, до мая мне учёбой заниматься недосуг. И жалко, если я отстану от вас. Помогай, Юра! Есть ли у тебя контрольные работы? Я могу торжественно обещать: перелищу так, что и сам не узнаешь. Это все-таки быстрее, чем написать заново».*

- Да, - Комраков опять улыбнулся. - Помню... Ты мне прислал...

- Гена, я обеспечил тебе не только первую публикацию в центральной прессе, но и высшее образование! Цени. Вот еще письмецо:

- «Перелет совершил в калошах и с костылями. Кто меня мог видеть в тот момент, - рыдали. Так вообрази и ты эту жалостливую картину и растрогайся, и вышли мне от щедрот своих что-нибудь с барского стола умственной деятельности. Мне бы огрызки контрольных работ, объедочки курсовых... Потому как после удара у меня в голове шум».

- А-а, это меня в Киргизию собкором от «Известий» послали, а я ногу сломал, - он вздохнул. - Хорошее было время!

- Тебе везло на аварии, - проворчал я. - Куда ни поедешь, обязательно у тебя что-нибудь или сломают, или помнут.

- А я везучий был на эти дела, старик! Везучий, да. Другой на моем месте загнулся бы к тридцати - тридцати пяти, а я, как видишь, дожил до пятидесяти девяти.

Он улыбался, говоря это. Словно аварии и несчастья приятно ему вспомнить.

Комраковская улыбка была особенна тем,

что в ней определяющим было дружелюбие. Не ирония, не лукавство, не простодушие, и тем более не застенчивость или смущение - эти свойства, по моему, были чужды Комракову. Расскажет что-нибудь и смотрит, улыбаясь, как другие хохочут: салаги, мол, вы! Ничего в жизни не видели, не знаете. Невозможно представить его сидящим в одиночестве, тем более с грустным видом. Грусть не была свойственна ему. Он мог огорчиться, мог досадовать, сердиться, но не грустить. Ему было присуще здравомыслие, а при таком и грусть, и тоска неуместны.

Практический склад ума я, впрочем, поставил бы ему в упрек, а не в заслугу, потому что это не писательское качество. Но он сам говорил, что не родился писателем, так что какие могут быть тут упреки!

Комраков был человеком дружеской компании. Вокруг него всегда кучковались, всегда окружали его люди, в которых он отражался, как в зеркале: веселый, остроумный, добродушный. Вот шел озабоченный человек, присоединился к кружку, в котором Комраков, и сразу, глядишь, уши наострил, Комракову в рот смотрит, и уже улыбается.

В некрологе: «он был душой всех компаний» и «возле него всегда светились лица друзей и незнакомцев, сразу проникавшихся к нему дружелюбием». Что верно, то верно.

Мои воспоминания о нем по большей части

забавны. Его поступки всегда имели юмористический оттенок, как бы серьезны ни были. Вспоминается, как однажды, проснувшись рано-рано утром, - лучезарным, кстати сказать, июньским утром! - я увидел Комракова стоящим на подоконнике, уперев в него руки и колени; он укорял дворника, который мел внизу улицу:

- Повести надо писать, а не метлой махать! Изящная словесность - вот достойное занятие для настоящего мужчины! А ты что? И с похмела, ведь, признайся.

Он еще и не ложился спать, только что приехал откуда-то и время там провел весело. Я сквозь сон слышал, как он тормозил сначала Генку Васильева, потом Олега Пушкина:

- Старик, ты что спишь? Вставай. Утро-то какое, а ты дрыхнешь. Спишь - не живешь. Да что вы, старички, жить, что ли, не хотите?..

Не добудившись, он вылез в одних трусах на подоконник дворника укорять... Значит, навеселе. Пьяным до безобразия он не бывал никогда, хотя выпить мог много, - пьянея, Комраков добрел, становился неукротимо деятелен, неостановимо предприимчив и готов был не спать до утра и далее. Да, уж он был компанейским человеком, а это не иначе, как дар Божий.

В ту пору совершенно убежденный, что мои собственные литературные способности безграничны,

я чувствовал в нем достойного соперника и относился очень ревниво ко всему, что он писал.

На четвертом курсе меня, как громом, поразило известие, что Комраков сочинил повесть! Мало того: она принята журналом «Новый мир». То есть будет там напечатана рядом с произведениями маститых авторов! Я был слегка контужен, ей-богу, - именно такое воздействие оказал на меня успех моего друга.

Комраков написал о том, как в районном городке мелкий чиновник, вроде инструктора или инспектора, послан волею секретаря райкома партии добыть у колхозников две тонны картошки для рабочей столовой. «Ежели мы рабочих оставим без картошки, они наши лекции о строительстве коммунизма на данном этапе слушать не будут», - так заявил этот секретарь.

Фамилия чиновника была Опёнкин, и сразу же возмутила меня своей придуманностью. Фамилия говорила о том, что автор будет подтрунивать над своим героем и ставить его в смешные положения. «Нет ничего проще описывать дураков! - ревниво ассуждал я, читая повесть. - Кто б написал об умном герое!»

Но ведь и дурака не так-то просто изобразить. Поди-ка, сочини для него физиономию, язык, поступки. А комраковский герой был забавен и трогателен, самоотвержен и беспомощен, склонен к трусости и героизму, благодаря чему события в

повести разворачивались довольно живо: Опёнкин все время перемещался в пространстве авторского вымысла, встречался с разными людьми и совершал поступки, диктуемые логикой событий, но не логикой его характера. Он едва не угодил под повалившуюся на бок автомашину, чуть не погиб в пешем путешествии, оказался в бане вместе с деревенской девкой Клашкой, потом в ее постели; уморительна была сцена, где двое братанов сначала угощают его медовухой, спрашивая «Ты меня уважаешь?», а потом выгоняют вон: «Братка, выведи эту гниду!», и так далее.

Все было в повести: и живые характеры, и драматические события, и проблема на уровне центральной газеты, и дерзость некоторых суждений, подкупившая, по-видимому, редакцию либерального журнала.

Я смотрел на своего друга во все глаза: вот он, Комраков, такой же, как мы, из одного со мной творческого семинара, стал автором повести! И ее будет читать вся страна - где? - в «Новом мире». Каждая фраза, рожденная воображением Комракова, написанная его рукой, дойдет до сознания тысяч... нет, сотен тысяч людей. Фантастика!

- Твардовский приглашал в свой кабинет, - рассказывал Гена, как о чем-то обычном, - чаем меня угощал. Секретарша принесла нам обоим (как это замечательно-небрежно - «нам обоим!»), сидели,

пили, он говорил: «Я был против публикации вашей повести, но редакция высказалась «за». Пришлось уступить». Между прочим, он название предложил новое - «За картошкой». Мне-то не очень нравится, но ведь... Твардовский!

Комраков в моих глазах стремительно взошел на ту высоту, где обитают уже небожители; во всяком случае он каким-то образом стал причастен к ним; на нем уже заметно стало отражение неземного света - по-видимому, это и был свет славы.

Я тоже решил написать повесть и сделал это за полтора месяца - в дело пошли три-четыре рассказа, которые я завязал в единый сюжет, построил мосты между ними, ввел новых героев, дописал недостающие сцены. То, что получилось, я назвал повестью и дал ей такое название: «Вот моя деревня...» После чего разослал по разным журналам - в Москву, Ленинград, Саратов - будучи уверенным совершенно, что ее не примут нигде: с чего это солидные журналы будут печатать начинающего автора! Сначала ему надо пострадать, помытариться, а потом уж... Но случилось чудо: из всех этих городов, из четырех журналов, мне пришли благожелательные ответы: мол, творение ваше заинтересовало нас, и мы готовы его напечатать. Я ошалел, не смея тому верить.

Первым откликнулся главный редактор журнала «Нева» - Александр Федорович Попов: он позвонил мне поздно вечером из Ленинграда (я жил тогда в

Осташкове, на втором этаже деревянного дома с печным отоплением):

- Я только что закончил читать вашу повесть. Вы не возражаете, если мы ее опубликуем?

О чем он спрашивает? Разумеется, нет!

- Как у вас с деньгами? Мы можем заключить договор и выслать аванс...

Мне вскоре прислали аванс - я купил на него телевизор. А на весь остальной гонорар потом купил холодильник, диван и что-то еще... Благословенные времена! Теперь для того, чтоб купить телевизор, мне надо написать и опубликовать в толстых журналах десяток таких повестей, как «Вот моя деревня...». Но это я так, к слову.

В ту ночь, после столь счастливого для меня разговора с главным редактором «Невы», мне впервые приснился цветной сон. Помню бушующее море - валы изумрудно-зеленых волн хлестали в стены моего бревенчатого дома, ставшего кораблем; а мне было отнюдь не страшно, а напротив, радостно среди этой стихии; я видел яркое голубое небо над крышей и пестрых, как попугаи, рыб, выскакивающих из воды, и сверкающие разноцветные пузырьки в толще воды.

Не знаю, что снилось Комракову и снилось ли что-нибудь на взлете его литературной судьбы, а мое торжество было полным. Ведь если до сих пор я мог сомневаться, что из меня получится писатель, то после звонка из журнала «Нева» (подумать только

- сам главный редактор позвонил!) всякие сомнения отпали. Раньше одни надежды да мечты, теперь налицо их реальное воплощение.

Вот что такое соперничество с Комраковым! Не будь его - нескоро написал бы я повесть про свою умирающую деревню и нескоро увидел бы изумрудно-зеленое море с пестрыми крылатыми рыбами.

В другие журналы пришлось потом посылать вежливые отказы, что я и сделал в манере избалованной вниманием литературной знаменитости.

Из Москвы /»Знамя»/ мне ответили без обиды, что-де если Ленинград /«Нева»/ по каким-нибудь причинам все-таки откажется от публикации, переменит свое решение, то московский журнал готов будет опубликовать мою «Деревню». Саратовская же «Волга» обиделась немного, неловкость с нею вышла, но я обещал прислать им новую рукопись, в чем потом и преуспел.

Все же несмотря на мои явные литературные успехи, в Литинституте тогда только и шороху было: Комраков, Комраков... Его анекдоты, его шутки; а его нарочито скупые рассказы о высоких литературных сферах, к которым он стал вдруг причастен, были откровениями. Он сразу и безоговорочно занял среди нас, прозаиков, лидирующее место.

А среди стихотворцев нашего курса взошла звезда Коли Рубцова.

*Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...*

- Он ведь у нас есть на той общей фотографии, Рубцов Коля, да? - спросил Комраков.

Я достал ее из альбома: возле крылечка Литературного института весь наш курс, выпускной, - это, значит, лето шестьдесят девятого года.

Мы вместе разглядывали снимок, сидя на диване.

- Олег Пушкин с Генкой Васильевым... - приговаривал Комраков, - Шмаков Петька...Юра Маслов...

Так называли по именам всех, кого вспомнили.

- А что-то мало из нашего курса классиков-то вышло! - сказал Комраков. - Кроме тебя, старик, и нет никого, а?

- Коле Рубцову уже памятник поставили, - напомнил я.

Опять он разглядывал снимок:

- Рубцов вот он стоит... трезвый, по-моему... А это кто? Не узнаю, не помню... А это я.

Комраков на том снимке стоит, улыбаясь, я у него за спиной, Олег рядом. Мы вместе, и это, наверно, в последний раз.

- Саша Тихомиров погиб, - подсказал я, - под поезд попал.

- Я его не знал.

- Да знал! У него такие по-детски доверчивые стихи были, очень трогательные: *«Ах, коровушка-корова! Будь, пожалуйста, здорова...»*

- Нет, не помню. А Кавторин сейчас где?

- В Петербурге живет. Был заместителем главного редактора журнала «Звезда». Я ему уже тогда подсказывал: для художника, Володя, ты слишком умен, иди в критики. Художник должен быть маленько глуповат, даже если это Лев Толстой.

Комраков в задумчивости отложил фотографию:

- Вот были мы... и был у нас Литературный институт... знаешь, как будто это сейчас есть!

- Гена, у одного хорошего писателя по этому поводу сказано вот что...

Я снял с полки книгу, открыл на знакомом месте и стал читать:

- «Никто из людей в пространстве истории не умирал... Все живут, имея начало и конец жизни, как река имеет исток и устье, и течет, течет... Разница лишь в том или ином отдалении жизнетечений от нынешнего дня. Эти жизнетечения отслоились от тленного человеческого естества, они сами по себе и составляют в совокупности огромный, прямо-таки необозримый мир, границы которого теряются в тумане...»

- Откуда это? - спросил Комраков.

Я продолжал:

- *«Пространство истории наполнено*

движением, звоном многоголосьем, дымом пожарниц, взблесками мечей и тугим ветром вселенских катастроф, запечатленными в крике страданием и торжеством, бессонными токами человеческой мысли и озарениями духа. Пространство истории живо; могучее дыхание его толкает ныне живущих в стины: вперед! да сбудется то, что сбудется!».

Он взял из моих рук книгу, полистал:

- Ага, «Великий мост». Читал я этот твой роман, читал... но, извини, старик, не помню наизусть. Как ты Монтеня. В твоём «Великом мосте» знаешь, что самое удачное? А вот история двоих влюбленных, которую ты извлёк из какой-то старинной книги. А остальное так... беллетристика.

- Напрасно ты, Комраков, употребляешь это слово, как ругательное, - возразил я ему. - «Беллетристика» означает «изящная словесность». А что касается любовной истории, то она не извлечена из старинной книги, как ты утверждаешь, а сочинена мною.

- Не ври. Там старинный текст. Меня не проведёшь. Вот же...

Он стал читать:

- *«Была Иринеца велелепа и велеозарна красотою лица своего, доброноса, чистома бровма и велеока. Отец обратился к ней с такой речью: «Чадо, доспела еси цветом полевым, реци мне, коего ти царя син годе есть, с тем тя повенчаю...».* Тут речь не твоя, старик.

- Гена, ты доверчив и простодушен, как Опёнкин из повести «За картошкой».

- Опёнкин, да, - Комраков отложил мою книгу и стал задумчив. - Между прочим, когда я умирал, он пришел постоять... у моего смертного одра.

Я не удержался, капнул ему яду:

- А пламенный революционер, о котором ты распинался? Как его фамилия? То ли Емельянов, то ли Афанасьев...

- Этот не пришел, - хмуро сказал Комраков. - Да и бог с ним! А вот почему другие не пришли...

Теперь и я молчал. Нет, этот упрёк был не ко мне - насчёт того, что не постоял у его смертного одра. Комраков думал о другом.

- Ну, а книги мои, небось, держишь в пыльной кладовке? - спросил он. - Или совсем выбросил?

- Они незабвенны, старик. Вон стоят на полке: одна называется «Слоновая кость», другая - «Пункт «Васька»», третья - «Прощай, гармонь!», и самая толстая - «Странные путешествия». Прочие ты мне не присылал. Хочешь процитировать что-нибудь ради назидания мне?

Он встал, подошел к книжной полке, взял в руки одну свою книгу, другую... полистал молча. Я сказал ему, тяготясь нашим молчанием:

- Честно говоря, мне нравится только твоя «Картошка». В ней эмоциональное напряжение выше, нежели в других твоих повестях. А для

изящной словесности напряжение чувств все-таки определяющее качество.

Кажется, он не слушал меня, во всяком случае не отозвался. А мне хотелось завязать его в разговор.

- Ты говорил, что напишешь шесть повестей, именно шесть, ни больше и ни меньше, - напомнил я ему. - И одна из них будет называться примерно так: «Кино в руках Советской власти». А написал только три. Ты не исполнил священного обета, старик.

- Не исполнил, - эхом отозвался он и подошел к моему письменному столу: - Что ты сочиняешь? Та-ак, «Новая Корчева», провинциальный роман. О чем это?

- Если я смогу сформулировать в нескольких фразах, о чем мой роман, к чему тогда и писать его? В том-то и дело, что невозможно. Вот закончу - прочитаешь.

Он бегло глянул на меня и стал перебирать стопку исписанной, а вернее исчерканной вдоль и поперек бумаги, лежавшей на углу стола.

- Зачем ты бережешь черновики? Для будущего музея, небось? - съехидничал он.

- Для сверки с чистовиком. Если надо восстановить выброшенное.

- Ясно... «Божество», рассказ. Про любовь, наверно? «Дикий рынок». Рассказ... «Русские снега», повесть. Неплохое название, старик!

- Самое лучшее название для повести - «За

картошкой». Мне никогда не подняться на такую высоту.

- Ладно, я тебе отомщу... А это что? Ты пишешь стихи? Стыдись...

- Иногда. Для внутреннего употребления.

Комраков читал по исчерканному листочку:

*Может быть, этот дом - мой последний приют,
Потому его окна глядят на закат.*

Иль проклятые думы меня здесь убьют,

Или грусть сокрушит, доконает тоска.

Он поднял на меня глаза:

- Упаднические настроения?

- Это после твоих похорон, - признался я.

Может быть, этот свет из закатных окон

Просияет к исходу последнего дня,

И во веки веков будет памятен он

В мире том, где Господь ожидает меня.

Он отложил листочек, не дочитав стихотворение до конца:

- Не пиши больше стихов, старик. Особенно таких. Не буди дремлющего зверя. Это опасно для жизни, понимаешь?

Очень уж серьезно он это сказал и отошел к окну:

- А солнце, значит, сюда заходит? За лес на том берегу?

- Да. Такая уж у меня квартира. Каждый вечер живописнейшие закаты! Вот я сочинил на эту тему стихотворно.

*В коловращенье шар земной,
Весь этот мир летит куда-то.
И вот опять передо мной
Фантасмагория заката.*

Но вид у моего гостя был уже отрешенный. Ему было не до стихов, он засобирался уходить.

- Да побудь еще, Комраков! - попросил я. - Куда ты спешишь?

Но он направился в прихожую. И оттуда уже сказал:

- Хорошо посидели... Я даже не ожидал, что без водки можно так...

Он вышел на лестничную площадку, и когда остановился у лифта, я окликнул его:

- Комраков!

Он обернулся молча, посмотрел на меня вопросительно. Вид его был странен.

- Мы увидимся еще?

Он опустил голову и ничего не сказал в ответ.

- Мы увидимся, Комраков? - повторил я уже с мольбой в голосе. - Приходи, а?

Лифт раскрылся перед ним, и, вступая в него, он сказал глуховато:

- Приду.

Самая лучшая музыка на свете - тишина. Тем более в лесу. Я равнодушен к морю, совсем не знаю степи

и тем более пустыни - я лесной человек. Наверно, до нынешней своей жизни был просто деревом в лесу. Отстоял лет сто, потом упал, растворился во мхах. И возродился уже в человеческом облике.

Но прошлое разве забудется! Тепло от солнечных лучей, косо падающих в чащу, тяжесть птицы или снежной шапки на ветке, унылый скрип сухого дерева, запах хвои, моховой прели, смолы от новорожденных сосновых почек... все это очень живо отзывается во мне.

Я лесной человек и тоскую, если долго не вижу леса. Мне необходимо бывать в нем по крайней мере раз в неделю. Посидеть на пенушке, послушать треск костра, шум ветра в вершинах, нечаянный шорох падающей шишки.

Вокруг нашего городка - леса, и все мои. Один хорош для грибной охоты, другой - для ягодной, третий - для праздных прогулок с семьей или с гостями. А вот этот, дикий и неухоженный, - для уединения, для полного погружения в него, подобно стволу упавшего во мхи дерева.

Едва только по осени встанет Волга, по молодому тонкому ледку я перехожу широкий плес как раз напротив своего дома, по берегу знакомой тропкой пробираюсь в чащу на насиженное место: три могучие ели тут стоят, образуя равносторонний треугольник, они смыкают свои кроны, а вокруг мелкая древесная поросль - это мой лесной дом; в нем мир и покой.

Солнце, пробиваясь через отягощенные снегом лапы елей и сосен, высвечивает поляны, где снег лежит пышно, как в первый день мироздания; сверкающие блесточками солнечные пятна медленно перемещаются по поляне и исчезают.

Так было сегодня. А по пути сюда и здесь уже я вел молчаливый разговор... или размышление, словно урочную работу выполнял.

«- Комраков, где твоя родина? - спросил я среди этой «беседы». - Я никогда не слышал от тебя рассказов о ней. Было ли у тебя детство? Или ты родился во взрослом состоянии?»

«- Вроде, было... Но что о нем толковать! Пустое дело».

«- А я живу с глазами, обращенными назад. Не знаю, хорошо это или плохо».

«- Какой смысл шагать задом наперед! Недаром же глаза у нас не на затылке».

«- Там третье око, наше духовное зрение» - возразил я.

«- Сам же написал: вперед! и да сбудется то, что сбудется! Так и действуй.»

Я ему в тон уже вслух тютчевское:

*- Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
А завтра будет то, что будет.*

Так я беседовал с ним в воображении своем...

Прилетали махонькие, но чрезвычайно деятельные пичужки, сновавшие по стволам и веткам; их было много, они попискивали и на меня, сидящего у костра, посматривали с живым интересом. Мне казалось, они узнали меня; во всяком случае в их писке я легко различал птичьи возгласы: «Посмотрите! Этот бездельник опять пришел сюда! Как и прошлой зимой».

А я сидел неподвижно; костерик пылал передо мною. Он весел был, пока я с ним общался - подкладывал сухие веточки; и совсем замирал, когда я забывал о нём. Между мною и им было живое общение. Как и с теми, кто тут посещал меня.

Я размышлял о том, что со смертью Комракова жизнь моя потеряла одну из своих несущих опор. Дело в том, что я привык к мысли: если, мол, случатся со мной какая-нибудь серьезная незадача, помочь мне и выручить меня сможет только он, и больше никто. Ни родной брат, живущий далеко от меня; ни родной сын, ставший взрослым и тоже обитающий в отдалении; ни мать - она уже старушка; а вот именно Комраков. Эта мысль окрепла во мне давно и была основополагающей, именно как несущая опора моего земного существования.

Откуда была такая уверенность?

Я видел: он удачлив, он исключительно деятелен, он обходителен и потому любим всеми. Комраков захотел напечататься в лучшем из

толстых журналов - в «Новом мире» - и напечатался. Он пожелал стать собкором центральной газеты - «Известий»! - и стал им. Он задумал издать книгу, вступить в Союз писателей, закончить Литературный институт, переехать на жительство в Москву и получить там большую квартиру в престижном районе - и добился всего этого. Он всемогущ, этот Комраков! Он с легкостью заводит друзей с высокими должностями; в его руках обыкновенный телефон становится чем-то, вроде скатерти-самобранки или «Сезам, откройся!».

Он был в моем резерве, как свежий полк у полководца, и я мог предпринимать самое дерзкое начинание. А теперь резерва нет...

Я подбросил в костёр сухого хворосту и продолжал размышлять.

С удивлением, как нечаянное открытие, воспринял я свою мысль о том, что почти все мои воспоминания о Комракове - это воспоминания о наших совместных застольях. Иного, собственно, и не всплывало в памяти. Неужели больше ничего? Да почти ничего. Правда, пирушки эти были настолько самозначимы, что, право, другого и вспоминать не хотелось. Это было то поле деятельности, где Комраков проявлялся со своей самой талантливой стороны: лучшего застольного собеседника я не встречал никогда.

О, наши давние литинститутские пиршества!

Комраков по праву был на них царь и бог.

Когда мы, подсчитав свои денежные накопления в виде рублей, трёшек и пятерок, выносили совместное решение «Гуляем!», он звонил в какой-нибудь ресторан:

- Это Геннадий Комраков, собкор «Известий».

И далее лениво-доверительно:

- Значит, так: нам нужен столик на четверых... не в центре зала..., понимаете? Поставьте сразу кое-что из закусок: ну, там помидорчики, огурчики. Лучок зеленый, редисочку, травку... вы знаете, не мне вас учить. Рыбку ассорти, колбаску копченую, сыр обычный и этот самый... с зеленой плесенью... рокфор. У меня один из друзей - большой любитель тухленького да плесневелого... икорки красной и черной... Вода у вас какая? Боржом. По бутылке на каждого. Ну, и хватит пока. Мы придем, распорядимся насчет дальнейшего. Да! Водочку охладить не забудьте, и не наливайте в графин, так в бутылке и подадите, чтоб в рубашке была от росы... Коньяк - это потом. А пока водку. Мы сейчас придем.

Он невозмутимо клал трубку, говорил нам:

- Ну, все. Пошли, старички.

И мы шли сквозь московскую толпу: Комраков ледоколом впереди, мы - мелкие суда - за ним.

Перед рестораном толпа страждущих, на дверях табличка: «Мест нет», за стеклом фигура в фуражке.

- Вы думаете, это швейцар? - говорил Комраков

то ли в шутку, то ли всерьез. - Не-ет, это никак не ниже полковника кагэбэ. У них тут схвачено.

Наш лидер делал небрежный знак, дверь незамедлительно открывалась. Думаю, если б этот комраковский жест не был столь небрежен, нам не открыли бы.

- Заказано, - произносил Комраков, даже не взглянув на «полковника КГБ».

- Они со мной, - покровительственно кивал он на нас.

Так бывало перед «Метрополем», «Пекином», «Москвой», «Прагой», «Софией»... Э-э, да, оказывается, мы были ресторанными гуляками! И в «Славянском базаре» были, и в «Баку», и в «Русской кухне», и, конечно, в Доме журналистов да в Доме литераторов - считалось, там лучшая кухня в Москве.

Мы входили в зал, метрдотель встречал нас и провожал к столику, уже сервированному; официант без промедления приносил запотелую бутылку водки.

- Как вас зовут? - спрашивал у него Комраков дружески.

И тот становился нашим доброжелательным исполнителем на весь этот вечер.

Теперь, сидя в одиночестве перед костром, я видел явственно просветленные, воодушевленные лица моих друзей - Комракова, Пушкина, Васильева, и свое

тоже - лица, озарённые творческим вдохновением; именно творческим, потому что у нас шёл жаркий литературный разговор! Я слышал их голоса... и свой голос тоже.

Нет, мне не восстановить ни одного из наших словоговорений; в моей памяти лишь их общий смысл.

Едва справившись с холодными закусками, мы с ужасом узнавали, что Комраков заказал горячее и сейчас принесут «мясо по-суворовски» или «шашлык кавказский», а потом перепелку или куропатку с клюквенным вареньем или просто индейку под соусом.

- Да ты что, Гена! - взмаливались мы. - Не съесть!

- Ничего, - говорил Комраков, утешая. - Посидим, отдохнём... потом управимся, под водочку.

И мы, действительно, управлялись... под водочку.

Любимый рассказ его: будто я однажды, при таком вот сидении, хорошо поев осетринки да икорки, откинулся на спинку стула и сказал:

- А хорошо быть писателем!

Комраков уверял, что именно эти слова я произнес, и был в его уверениях уличающий меня смысл. Я не возражал, но... не мог я такого сказать! Не мог. А если и сказал, то никак не связывал ресторанный еду с писательским делом.

Кстати будет упомянуть о том, что в кругу моих

друзей меня не оставляло чувство своей творческой неполноценности: все симпатии Литературного института в то время были на стороне «Нового мира» с Твардовским, а консервативный «Октябрь» с Кочетовым осмеивался всячески, а кое-кем и презирался; я же следующую свою повесть - «Хозяин» - разослал веером по журналам, словно удочки-донки раскинул, и «клюнуло» в «Октябре». Соблазн напечататься был велик: две повести в толстых журналах - это уже бодрая заявка на книгу! А первая книга открывала сияющие перспективы будущей профессии.

- Важно не где печатаешься, а что пишешь, - оправдываясь, говорил я Комракову, Пушкину, Васильеву.

Они сочувственно улыбались, переглядывались, позволяли себе реплики: мол, на кого работаешь? Я отшучивался, но было обидно. Однако не отказываться же от публикации!

Моя повесть была о том, как трудолюбивый деревенский парень, вернувшись из армии, захотел стать хозяином. Захотел даже разбогатеть, а это уже было предосудительно с точки зрения господствующего государственного мнения. Повесть получилась с «кулацким» подтекстом, и я удивился, что ее приняли в «Октябре». А удивившись, понял, насколько приблизительным было размежевание между журналами. Я заподозрил даже, что все дело в

личных симпатиях и антипатиях ведущих писателей.

- Пойми, старик: октябрь - слово неприличное, - говорили мне мои друзья. - Что-то вроде полового извращения.

Я обижался не за журнал - за себя. Никто из них не прочитал «Хозяина», а уж осудить осудили.

Наше размежевание было обычным разномыслием, и не более. Я отыгрался с лихвой, когда Комраков заключил с издательством договор на книгу для серии «Пламенные революционеры», избрав себе в герои ивановского ткача-большевика. Он объяснил это очень просто и без смущения: за «пламенных революционеров» хорошо платят, а ему, Комракову, деньги позарез нужны: в кооператив вступил - дачу в Красной Пахре строит.

Я же к тому времени написал повесть «Пастух», предложил «Новому миру», там её весьма похвально отрецензировал Виталий Сёмин, рекомендуя к публикации. Таким образом соперничество моё с Комраковым продолжалось и далее. Но это было потом, а пока что мы сидели в каком-нибудь ресторане, и главным было то, что вот мы сидим, мы молоды и полны надежд, мы вместе... И это суть. А остальное текуче, преходяще, остальное суета. Даже то, что казалось нам таким важным: перипетии противостояния журналов, литературных партий, идеологических течений.

- Старик, ты какие песни любишь? - спросил

однажды Комраков.

- Старинные русские романсы, - отвечал я, еще ничего не подозревая.

- А из романсов который?

- Ну, например, «Гори, гори, моя звезда», «Глядя на луч пурпурного заката», «Растворил я окно»...

Нет, наша компания никогда не пела песен. Даже в общежитии. Я всегда жалел об этом, потому что считал: пение песен, равно как и чтение стихов, превращает любую пьянку в дело достойное и даже благородное. Хорошее пение и хорошее чтение, разумеется.

Комраков после вопроса о моих песенных пристрастиях, помнится, куда-то отлучился на минуту, и вдруг от ресторанного оркестра развратным голосом объявили:

- По просьбе нашего друга из Осташкова Юры Красавина исполняется романс «Гори, гори, моя звезда»!

И гнусно, надо сказать, исполнили! Тем довольней были мои друзья.

- Комраков, посмотри туда.

Это Олег Пушкин отвлекся от спора-разговора и желал отвлечь нас. Комраков чуть разворачивался корпусом.

- А? Кто такие? Сейчас наведем справки... Где наш обслуживающий? Я забыл, как его зовут.

Приходил официант.

- Слышь, а что за бабы вон там, длинные такие?

- осведомлялся он заговорщицки.

- Насколько я понял, это баскетболистки... из союзной сборной.

- О! Бутылку шампанского на тот столик!

Минуту спустя наш обслуживающий скользил туда с подносом, на котором стояла бутылка шампанского. Я, как последний жмот, страдал от этих купеческих жестов: каждая трешка на счету, а Комраков позволяет себе... ведь и мне придется за это платить, и мне! Официант, чуть склонясь, говорил что-то «баскетболисткам», те разом оборачивались в нашу сторону, мы дружно поднимали бокалы, они благосклонно кивали. Это ободряло нашу компанию на дальнейшие подвиги.

- Счас идем танцевать, - распорядился Комраков.

- Юра, ты у нас самый красивый, тебе самую длинную - действуй! Не перепутай, она спиной к нам...

- Бросьте вы, - уговаривал я в досаде. - Что за охота! Лучше посидим, поговорим.

Но моих друзей увлекала озорная сторона этого дела.

- Ты что, старик! - возражали они хором. - Ты ничего не понимаешь. Раз в жизни... потанцевать с чемпионкой по баскетболу... для писателя это необходимо, как воздух!

Наутро, проснувшись в комнате общежития,

Комраков спрашивал глубокомысленно:

- Старички, а кто у нас вчера из-под носа увел баскетболисток?

- Штангисты какие-то, - сонно отвечал Пушкин Олег.

Но я помнил ясно, что мы с Васильевым, как самые галантные, провожали их до швейцара... А может, не их. Но чьи-то ручки целовали, звенели отсутствующими шпорами, покручивали несуществующие усы, скрипели воображаемыми португезьями...

Скрип снега заставил меня оглянуться. Черная плюгавая собачка комнатной породы боязливо скакала впереди человека, направляющегося ко мне. Человек этот был сутул, медвежковат, в кожаной куртке и кепочке тоже кожаной.

- Комраков! - воскликнул я, тотчас вставая. - Это ты, Комраков? Привет!

Теперь я не испытывал страха - только радость.

- Вот ты где, - отозвался он буднично. - Подался в леса...

- Как ты меня нашел, Комраков?

- По следам... Смотрю, от твоего дома следочки твои пролегли как раз поперек реки.

- А почему тебя так долго не было? Я ждал, ждал... Неделя прошла, другая - ты как сквозь землю провалился.

Мое «сквозь землю» прозвучало двусмысленно, и я прикусил язык.

А он встал рядом, снял кепку, пригладил волосы - пар поднимался от его головы: все по-земному, все убедительно, неопровержимо и живо в нем. Собачка доверчиво жалась к его ногам, задирая голову и глядя на хозяина черными, выпученными глазами. Я вспомнил, что такая была у Комраковых лет пять назад, они спровадили ее в Ярославль к родне. Теперь-то откуда она взялась?

- Садись на эту доску, Комраков, а я для себя принесу другую, у меня тут припрятано.

Я пошел за доской, поставленной за стволом толстой ели, и оглядывался на него, боясь, как бы он не исчез.

- Откуда у тебя собака, Комраков?

- А кто ее знает! - глухо отозвался он. - Приблудилась.

Он и о той собаке, что уехала в Ярославль, так же говорил: «Приблудилась». И был равнодушен к ней, а она его преданно любила.

Я вернулся, положил доску на вбитые тычки, объясняя:

- Я это сиденье для жены делаю, когда она приходит со мной. Видишь, у меня тут насиженное место, можно сказать, намоленное. Тут добрые духи живут. Я прихожу, говорю им: «Привет, ребята! Вот и я... Сейчас костер разведу, погреемся». Вот и сидим.

- Стишки, небось, читаешь? - подсказал он.

- Не стишки, а стихи, Комраков. Откуда у тебя такое пренебрежение к ним? Оно, кстати сказать, было всегда, и в литинститутскую пору. А известно ли тебе, что сочинение стихов есть высшее проявление творческих сил в человеке? В акте стихотворства участвует и разум, и сердце, и душа - весь организм! На что способны только избранные, их должно чтить.

- Я чту, - сказал Комраков смиренно. - Кто тебе сказал, что я не люблю стихов? Люблю.

Он подкладывал в костер сухие сучки, они вспыхивали - опять на его лице шла борьба света и тени.

- Ну, почитай что-нибудь, Комраков. Из того, что ты помнишь и чтить.

Он отозвался очень серьезно, видимо думая о своем:

- Наизусть знаю только «Вот моя деревня, вот мой дом родной...» Да и то потому, что ты такую повесть написал.

- А помнишь, ты мне прислал в письме... да, да, в одном из твоих писем было стихотворение Пастернака, которое привело тебя в телячий восторг. Кстати сказать, это чушь и чепуховина на мой взгляд, хотя оно пользуется великим почетом в кругах якобы истинных ценителей поэзии.

Я был в возбужденном состоянии оттого, что вижу его, и хотел завязать с ним спор на самую

достойную тему - о литературе. Мне любо все, что так или иначе касается ее.

- Посуди сам, Комраков: это же набор слов - «Зал затих - я вышел на подмости...» Ну, пока понятно: человек вышел на подмости, обратясь к зрительному залу. А дальше: «Прислонясь к дверному косяку». Вышел, прислонясь... Ты улавливаешь смысл?

- Там точка стоит, - сказал он.

- Где?

- После подмостков точка. И будет так: «Прислонясь к дверному косяку, я ловлю...»

- Старик, откуда там взялся дверной косяк? О чем вообще речь? Соответствует ли это здравому смыслу? Ты послушай дальше: «Я ловлю в далеком отголоске, / Что случится на моем веку». Отголоске чего? Песни? Крика? Слова? Чего отголосок-то? Мелкая философия на мелком месте, и не более. Пустые потуги на глубокомыслие!

- Как в рассказе у Шукшина, - заметил он и усмехнулся. - Там тоже один хмырь вот так размышлял насчет гоголевского Чичикова. Русь, говорит, тройка, а кто в тройке-то? Прохвост.

- Ты защищайся, Комраков! Это ж любимые твои стихи. Ты за них должен драться, как лев: мол, вот их преимущество, они очевидны. Ты же просто отстраняешься: это гениально, и не о чем спорить. А там дальше: «На меня уставлен сумрак ночи / Тысячей биноклей на оси...» Ты вдумывался когда-нибудь в эти

строки, Комраков? Тысяча биноклей! Они на оси. О какой оси речь? О тележной? О земной?

- Суть стихов не в смысле, - кратко заметил он, - а в чувстве, которое они пробуждают.

- Прелестно! У меня они вызывают недоумение.

- Тебе, конечно, по силам что-нибудь попроще: Рубцов, например.

- Проще - это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Есенин... и наш Коля Рубцов, да.

- Ну, Тютчева ты не знаешь, ты только Колю.

- Не серди меня, Комраков, не серди: в гневе я бываю страшен. Я с Федором Ивановичем с младенческих лет дружу. Могу прочитать тебе сейчас, не сходя с места, половину его сочинений наизусть. Тебя это, надеюсь, впечатляет?

- Ну, половины ты не прочитаешь, - возразил он.

- Давай так: сколько я тебе моего любимого Тютчева, столько ты мне всех, кого знаешь. Идет?

- Начинай, - поощрительно сказал он и пошевелил хворосток в костре.

Я прочел ему «Молчи, скрывайся и таи», «Есть в осени первоначальной», «Два голоса». Он отмалчивался. Я прочел «Две силы есть, две роковые силы» и «О, как убийственно мы любим», потом вот это:

*Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем
Самих себя – лишь грезой природы.*

*Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.*

Комраков, слушая, посматривал на меня и одобрительно кивал. Последнее четверостишие он повторил как бы для себя.

- У Рубцова есть что-то похожее на Тютчева, - сказал он задумчиво. - В интонации, что ли...

Я заподозрил, что это сказано в осуждение Рубцову, и тотчас кинулся на его защиту:

- Да ведь наш однокашник Коля Рубцов не стоит, словно кол на юру, - он вплетается в классическую русскую поэзию. Он законнорождённый сын её! В нём кровь Тютчева, Некрасова Есенина.

Комраков усмехнулся:

- О нём Генка Васильев хорошо сказал: болотный попик.

- Ну, это остроумие не составляет чести Гене Васильеву. Они все тогда, стихотворцы, не терпели Рубцова. Талант непереносим - это закономерно. Теперь же время прошло, и ясно кто есть кто. А Васильев прочитал рубцовское «Меж болотных стволов затерялся восток огнеликий» и съязвил. Я думаю, сегодня ему уже в досаду собственное остроумие.

- Хороший лес, - сказал Комраков, оглядываясь. - Давно я в таком не был.

О Рубцове - как вспомнится.

В нашем творческом семинаре был парень с Алтая, улыбчивый, незлобивый, писавший так же простодушно, как и улыбался - Петя Шмаков. Он из колхозных зоотехников подался в районные газетчики и намеревался с помощью Литературного института перейти в писатели.

Зная о моих финансовых затруднениях (двое маленьких детей, живем вчетвером на одну зарплату), Петя Шмаков печатал в своей районной газете мои рассказы, присылая исправно гонорар по трёшнице за каждый. А трёшницы эти, надо сказать, так славно выручали, потому что как раз трёшницы-то и не хватало в последний день перед получкой.

И вот однажды Шмаков прислал мне очередной номер газетки с моим рассказом, а рядом на странице были помещены два стихотворения некоего Николая Рубцова: «Меж болотных стволов затерялся восток огнеликий» и «Я уеду из этой деревни». Стихи меня покорили. Они заключали в себе то волшебство, которое присуще истинной поэзии и которого, увы, не было у многих и многих учившихся в Литинституте. Вроде, всё есть в иных стихах: и рифма, и ритм, и смысл, и даже мелодия, но живой души нет. Нету, и все тут! Яблоки, неотличимые друг от друга, но одни сняты с яблони и потому живые, а другие - просто муляжи.

Из письма Шмакова я узнал, что Николай

Рубцов - студент с нашего курса. И вот, приехав на очередную сессию, я тотчас к Шмакову:

- Покажи мне Рубцова. Ты его знаешь?

- Да мы с ним в одной комнате живем! - сказал

Петя, улыбаясь. - Заходи ко мне, я вас познакомлю.

Я в тот же день и пришел.

Рубцов появился вскоре и с первой минуты разочаровал меня: мелкого росточка, изрядно лысый, одет «по-колхозному» - в пиджаке с отвисшими карманами, и ко всему этому еще и в подпитии. Причем в неприятном таком подпитии, когда ясно, что пил человек не веселья ради и без всякого повода. Я вспомнил, что и раньше видел этого мужичка у нас в институте, между прочим, опять же в «поддатом» состоянии.

Шмаков нас познакомил

- Коля, это Юра Красавин, ему очень нравятся твои стихи.

Рубцов тотчас, без промедления попросил у меня три рубля. Расставаться с трёшницей мне никак не хотелось, и я спросил, зачем она ему. Он сказал:

- Ты что, не мужик, что ли? Водки купим.

- Коля, - отвечал я, - если б на хлеб, дал бы. А на водку не дам.

- Ну и пошёл на..., - отозвался Рубцов.

Но послал этак беззлобно, как бы машинально. А не мог я дать ему денег на очередную выпивку! Он уже выпил...

Да, я бывал, случалось, в ресторанах, а Коля пировал, как говорится, в антисанитарных условиях, но это вовсе не потому, что я был денежнее его. Я был столь же беден. Думаю, он и я прогуливали (пропивали) одинаковые суммы, только разными способами. Не в упрек ему говорю (избави Бог!) и не в похвалу себе. Просто обстоятельства складывались по-разному и закваска у нас с ним разная.

Петя Шмаков помирил нас и попросил:

- Почитай стихи, Коля.

Рубцов не заставил себя долго уговаривать. Он не читал, он пел... Каждое стихотворение на свой мотив. Я услышал в тот раз и «В горнице моей светло», и «Отцветет да поспеет на поле морошка», и «В минуты музыки печальной», и знакомое уже мне «Я уеду из этой деревни...»

Долго потом я был уверен, что именно в этот раз я впервые слушал стихи Рубцова в его собственном исполнении. Но вот недавно, перечитывая свой дневник тех времен, встретил такую запись:

«Спать легли за полночь. Под занавес явился какой-то пьяненький мужичок деревенского вида, попросил спички, а потом предложил послушать его стихи. «Свеженькие». Мы запротестовали: надоело, не надо! Ходят тут все и читают... Но он настоял: «Всего шестнадцать строк...» Прочитал стихотворение под названием «Дуэль» - по-видимому, о поединке Лермонтова с Барантом. Эти стихи

нас сразу подкупили. Мы выразили мужичку свое восхищение, особенно я, и он ушел, самолюбиво и растроганно бормоча:

- Да вот... пишем... Не члены Союза писателей!»

Это было на весенней сессии первого курса. А Шмаков познакомил нас позднее.

Нет, я не был потом дружен с Рубцовым и не состоял с ним даже в приятельских отношениях. Образ его жизни был несовместим с моим: всегда он крепко навеселе, помят, а то и оборван; всегда вокруг него крутилась пьяная компания. Иногда он заходил в нашу комнату, спрашивал, нет ли у нас чего-нибудь поесть; мы сочувственно отвечали: «Нету ничего, Коля!». Он заглядывал под стол или в угол и там, за веником, находил засохший кусок хлеба; обдувал, обтирал о пиджак и хладнокровно принимался грызть. Стихов он нам не читал, просто уходил. Олег Пушкин с Комраковым усмехались согласно с Васильевым Генкой: чудак...болотный попик.

Однажды мы сдавали экзамены по языкознанию, а это самая муторная наука после марксистско-ленинской философии. Но если марксизм-ленинизм спрашивали в Литинституте не шибко строго, то языкознание как раз наоборот: женщина, принимавшая экзамен, была взыскательна и немилосердна. Оно и понятно: что может быть нужнее и важнее для писателя, чем знание языка! Потому «валились» на ее экзамене каждый второй.

Помню, Коля Рубцов сел перед нею, словно на эшафот взошел; следующим должен был идти я, потому все происходило на моих глазах. Он положил экзаменационный билет на стол и честно признался:

- Ничего не знаю.

Жестокая женщина смутилась и озадачилась.

- Как же так, Коля! - сказала она тихо. - Ну, хоть что-нибудь!

- Ни в зуб ногой, - сказал он.

- Но почему?!

Он скосоротился, как от зубной боли:

- Да ну... Суффиксы, префиксы...

Она посмотрела в окно, потом попросила:

- Ну, тогда почитай мне свои стихи.

Он прочел ей: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...». Она слушала с прекрасным выражением на лице.

Россия! Как грустно!

Как странно поникли и грустно

Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!

Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,

И лодка моя на речной догнивает мели.

Не думаю, что ему было поставлено в зачетку «отлично», наверно - «удовлетворительно». Он не мог постигнуть хитроумную науку языкознания, но владел волшебством слова. Этот дар был определен ему игрою человеческих судеб, прихотью природы или божественным соизволением. Эта загадка - почему

он, а не кто-то другой? - интересовала меня всегда. За что именно ему или Есенину, Бунину, Пушкину, за какие заслуги этот дар? Я не находил ответа.

Помню Колю в потрепанном демисезонном пальтеце с поднятым воротником; в распахнутых полах - концы старенького шарфика, обмотанного вокруг шеи, в глазах вселенская печаль. Он неизменно грустен был и печален, понур и как бы в чем-то перед кем-то виноват.

Я всегда отмечал его глазами в толпе - у института ли, возле общежития ли: вот тот низенький, плохо выбритый, с жидкими волосами, зачесанными на лысину, - это Коля Рубцов, написавший «Звезда полей во мгле заледенелой. / Остановившись, смотрит в полынью...», и «Взбегу на холм и упаду в траву. / И древностью повеет вдруг из дола...», и «В этой деревне огнинепогашены, / Тымнетоскунепророчь...», и «Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...», и «Там в избе деревянной, / Без претензий и льгот, / Так, без газа и ванной / Добрый Филя живёт...».

На групповой фотографии весной 1969 года Коля Рубцов трезв, улыбается, на нём пиджачок с отвисшими карманами, штаны на коленях пузырятся, ботинки не чищены, стоптаны...

Наверно, в тот день я видел его в последний раз.

- А почему мы с тобой часто ссорились, старик?

- спросил меня Комраков. - Однажды до того, что не виделись пять лет.

- Я слишком многое тебе прощал. Ты иногда распоясывался. Однажды приступал ко мне с ножом.

- Это я хотел обрезать твой галстук. Он мне очень не нравился.

- Нет, ты хотел нанести мне смертельное оскорбление. Ведь поглумиться хотел!

- Пьяный был, - покаянно сказал Комраков. - Прости, старик. Не вели казнить.

- И на письма мои отвечал редко: я тебе три-четыре, а ты мне одно. Это не по-товарищески.

- А не люблю я эпистолярного жанра!

- Тогда какого черта ты полез в литературу! Занимался бы разведением кроликов. Так нет, вишь, в писатели... а взялся за дело, так делай! Сам процесс писания должен вызывать у тебя приятное ощущение, сравнимое с тем, что испытываешь, обнимая любимую женщину.

- Вот-вот... Ты все время меня укорял: мол, слишком я приземлён, привержен к материальному в ущерб духовному - это и раздражало. Ни с Олегом Пушкиным, ни с Генкой Васильевым у меня никаких размолвок не было, а с тобой...

- Так они же ребятки ужасно положительные! А я, увы, с некоторыми недостатками. Но имей в виду: никто тебя не любил так беззаветно, как я. Моя любовь к тебе - это вот то, что имел в виду Тарас

Бульба: для меня нет уз святее товарищества.

- Ты слишком обидчив, старик: самолюбив, капризен, изнежен. Тебе трудно жить на свете. У тебя комплекс невостребованности, понимаешь?

- Да сам ты гусь лапчатый! На том и остановимся.

- Нет, надо договорить, раз уж начали. Ты ведь Колю Рубцова не зря нынче вспомнил. Признайся, не зря ты мне его в укор ставишь. Разве не так?

Он говорил неторопливо, изредка взглядывал на меня.

- Мол, после Рубцова остались стихи, его песни вся Россия поет, и памятник ему уже соорудили где-то на Вологодчине. А, дескать, после тебя, Комраков, почти ничего. Это ход твоих мыслей, старик, я вижу тебя насквозь.

Я молчал.

- После тебя, мол, Комраков, вехами твоей судьбы - квартира на Селезневке, дача в Красной Пахре, гарнитур мебельный да шмотки кожаные... тогда как должны были остаться шесть повестей... ишь, вспомнил!

«Давай-давай, - подумал я, - Выговаривайся».

А вслух сказал:

- Заметь: все это ты говоришь, а не я.

- Дипломат... Да, не написал я еще три повести, так что из того? Мало ли их пишут!

Тут он замолчал. Белка поцокала над нами, устроила небольшой снежный обвал. Нам было не до

нее. Мы молчали довольно долго.

- Ты и вправду считаешь, что я ошибся? - тихо спросил Комраков. - Что не то делал и не так? Ведь ты именно так считаешь!

- Я не сужу тебя, Гена, - сказал я виновато. - Но мне, признаюсь, досадно: ты мог бы сделать больше и не сделал. Ты мог бы написать то, чего другие не знают и не смогут. А теперь что же... игра сыграна, свечи потушены...

- Ладно... Ты и раньше нажимал на меня: мол, я отступил от святого дела... предал женщину по имени Литература.

Мне не хотелось оправдываться, отрицать. Если он это помнит, значит, я говорил.

Костер у нас совсем потух. Собачка пропала куда-то. И разговор уже еле теплился.

- Ну, что ж, - сказал Комраков, вставая. - Чего теперь уж. Ты прав: что было, то было... а чего не было, тому не бывать.

Он надел кепку и повернулся уходить.

- погоди, - сказал я. - Посиди еще.

Мне хотелось что-то сказать ему, но слов я не находил.

Он уже удалялся между заснеженными елочками. Я окликнул:

- Комраков!

Он лишь чуть-чуть развернулся корпусом, но не остановился.

- Мы еще увидимся, Комраков?

Он не ответил. Снег мягко похрупывал у него под ногами, и скоро все стихло.

В третий раз он пришел ко мне во сне. Пришел, сел возле моего дивана, на котором я сплю:

- Привет, старик!

Буднично так сказал, спокойно. И сразу же тоном упрёка:

- Ты почему мне не пишешь?

Опять... словно я обещал, но не исполнил обещанного.

- Куда писать, Гена! Я не знаю твоего нынешнего адреса!

Я во сне понимал, что он умер, и в то же время сознавал, что его появление у меня естественно и правомерно.

- Как это не знаешь! – ворчливо произнес он. - Раз писатель, значит, должен быть осведомлен... о всех тайнах бытия, тут и там. В этом суть и смысл твоей профессии, старик.

Я ничего не мог возразить ему. Действительно, должен быть осведомлен, но... не сподобился. Я чувствовал себя виноватым.

- Ты двигай мозгами, старик, двигай. Если не ты, то кто?

А я не мог понять, чего он хочет от меня: каких писем? И куда? И о чём?

- Ты должен написать, старик, - убеждающе говорил он.

- Не мучай меня, Комраков! - попросил я. - Не требуй того, что выше моих сил. Я делаю, что умею и что могу, и не более того.

Он разочарованно покачал головой и встал, и отдалился от меня, отстранился.

- Ты ещё придёшь, Комраков? - спросил я его, привстав на постели.

- Нет, - сказал он уже через пространство.

И повторил обречённо:

- Нет.

Я горестно осознал, что больше не услышу от него «Привет, старик!» - это переживание от утраты было так сильно, что я проснулся с ощущением глубокой вины своей... перед ним? или перед... кем?

1994г.

ПО ГРИБЫ

РАССКАЗ

Пришёл я утром на рынок - женщина в торговом ряду раскладывает по прилавку... *белые грибы*. Я не то, чтобы удивился, - я онемел. Ведь уже середина октября! В иной год и в сентябре зябко, мертво в лесу, даже поганки не растут. Теперь же, хоть и нет ещё морозов, но то и дело сеет холодный дождик, отнюдь не способствующий грибному благополучию. Однако же вот они, *белые грибы*, - да и много их! - свежие, с пышными румяными шляпками, какие бывают только в летнюю пору.

Я повернулся и быстрыми шагами пошёл прочь, то есть домой. Я даже рассердился на себя: как это так - сижу дома, а добрые люди ходят в лес по грибы да и так успешно! Нынешним летом мне не повезло как раз с *белыми*. Иногда я приносил их - ну, пять.. ну, десяток... но не больше. И это после долгого хождения по лесу, по своим самым урожайным грибным местам! Иногда я и вовсе возвращался, совершенно разочарованный, с одними *солюхами*. А тут вдруг на рынке, небось, штук полсотни белых...

Дома я, ни слова не говоря, стал поспешно переодеваться: в тёплый свитер, куртку, вместо

лёгкой обуви - резиновые сапоги.

- Ты куда это? - удивилась жена.

- По грибы, - отвечал я и рассказал ей о румяных пышках - о *белых грибах* из большой, «бельевой» корзины, как их раскладывали по прилавку - один другого красивей.

- Тогда и я с тобой, - загорелась она.

- Нет-нет, - запротестовал я. - Глянь в окно: на улице пасмурно, сиверко дует, того и гляди дождь пойдёт. В лесу будет мрачно, сыро - никакого тебе удовольствия.

- Тогда и ты не ходи. Промокнешь насквозь, простудишься.

- Да уж я пострадаю... во имя великой цели.

Денёк-то и впрямь был хмурый, с сырым туманцем; в такую погоду только дома сидеть. Но меня было не удержать!

- Ну, бог с тобой, иди, - разрешила она, вздохнув.

И я отправился.

В воображении моём уже рисовались отрадные картины: вот приду в лес, а там стоят *белые* - тут шляпка, там шляпка... Может быть, как раз такая погода благоприятна для этих благородных созданий? Где-нибудь под покровом леса тепло и сыро - режим наибольшего благоприятствования для них...

В прежние годы я никогда не ходил по грибы глубокой осенью, но слышал рассказы о том, что, случается, и снег падёт, а из-под него выглядывают...

например, подосиновики: на белом снегу красные шляпки - картина, достойная кисти талантливого живописца. Рассказывали, что и рыжики попадаются, и грузди... Прямо-таки чудеса! Однажды под впечатлением такого рассказа кого-то из знакомых я даже стихотворение сочинил:

Никогда не ходил в октябре за грибами.

И не глупо ль идти, но, представьте, вчера

Как я был изумлён: нет, грибы не пропали,

Осень, снег уже выпал, а их... до фига.

Между прочим, стихотворение моё было построено таким образом, чтоб по первым буквам строк сверху вниз можно прочесть его первую строку. Я, пожалуй, ещё вернусь к нему, а пока о том, что вот собрался и пошёл по грибы... в середине октября. Может быть, где-то на юге это обычное дело, но не у нас. А впрочем, какие леса на юге? Там горы да степи, да пустыни. Несчастные люди, кто там живёт, пожалеть их надо, посочувствовать: у них, небось, не растут ни *белые*, ни *грузди*, ни *рыжики*....

Я не взял с собой корзинку - на пешеходной дорожке, что ведёт от моей улицы мимо дачных домиков к гаражам, за которыми уже лес, встречные насмешливо поглядывали бы на меня: неужто по грибы, умная голова? Я просто сунул в карман пластиковый пакет, подумал немного и взял ещё один: вдруг грибов попадётся столько, что не уместятся в одном пакете, так не рубаху же с себя снимать!

«У каждого свои игрушки на этом свете, - размышлял я, шагая мимо дач да гаражей, в которых всегда возятся их хозяева. - Кто-то ходит на охоту, ловит удочкой рыбу, копает грядки... Иные неведомо зачем лезут на самую высокую гору... Кто-то холит и лелеет своё авто - кто кого обслуживает? Но, господа автолюбители, моё увлечение гораздо благороднее! Мне не надо ни асфальтовой дороги, ни бензина... Я не порчу природную среду!».

Обычно я жду грибного сезона с нетерпением великим. По весне да в начале лета ревниво слежу за погодой: благоприятствует ли она произрастанию грибного племени. Любимый мой разговор - о грибах: где какие находил, какие происшествия при этом случались...

Загаражами-шоссе, которое пересекает железную дорогу, за ней уже и лес. Тут идти беспокойно: то и дело мимо мчатся грузовики, самосвалы, трактора с тележками, фуры - куда-то все едут, едут...

Я мог видеть, что сидящие в кабинах поглядывают на меня свысока. Но не всегда; не раз случалось, что они завидовали мне. Однажды - день был летний, жаркий, коли солнце выглянет из-за облака, тут самое пекло - и вот притормозила возле меня, шагающего по кромке шоссе, легковушечка, распахнула дверцу, выглянул человек, совершенно измученный дальней дорогой, распаренный от жары и духоты:

- Отец, где тут вода? Сказали: Волга... тёплый

канал...

Небось, из Москвы, а это часа два пути в шлейфе выхлопных газов над шоссе. Кажется, он готов был искупаться и в придорожной канаве, бедолага. Жалко их, столичных страдальцев, жили бы в деревне, ходили бы по грибы...

Ближе к лесу я прибавил шаг, заранее радуясь грядущей удаче. Несмотря на возраст - мне уже семьдесят! - я лёгок на ногу. Поверьте, это именно потому, что люблю ходить по грибы.

За железной дорогой шоссе раздваивается; одна ветка ведёт к тёплому каналу (это от нашей электростанции), куда я направил несчастных москвичей, другая в лес. Здесь, с краю, летом уже бродят грибники, но так думаю, что без успеха. Дорога ведёт в деревню Речицы, место дачное, но мне туда не надо. Мне только перейти широкую просеку с высоковольтной линией; за нею отрадная картина: асфальтовое полотно дороги вторгается в стену из высоких елей и сосен - тут все оттенки зелени, медные стволы сосен, белые стволы берёз.

Меня словно кто-то подталкивал в спину: скорей, скорей, а не то тебя опередят! Но сегодня никому, кроме меня, не пришлось в голову пойти по грибы, а та женщина, что на рынке, она явно ходит не в этот лес. Наверно, она из деревни, уж у неё настоящее грибное царство

Ах, там, где я провёл детство своё, был лес так

лес! Вспомню - сердцу отрада. Подходишь к нему - на опушке ели с широкими разлапистыми ветками до самой земли, а под ними...

Белые грибы, кстати сказать, мы звали *коровками*, а коли гриб велик, с зелёным исподом шляпы, то это *коровик*. Приподнимешь еловую лапу, а там *коровочка*, да и не одна, а иной раз целое семейство. Или *коровик*, большой, с решетом. Ну, если шляпа снизу шибко позеленела, тот гриб мы не брали, считалось недостойным настоящего грибника нести домой таких стариков.

В лесу детства моего были места знаемые и любимые: одно именовалось во *мхах*, другое в *холмашках*, третье в *ельнике*. В каждом таком месте возрастал свой отличный от прочих вид *коровок*. Если во *мхах*, то рослые, стройные, шляпки невелики. В *ельнике*, где чаща непролазная, приходилось пробираться на корточках, зато *белые* там росли семейно и были крепенькие, пузатые; иного и не видно под слоем игольника - просто холмик, а под ним сидит этакой мужичок! В *холмашках* их приходилось выкапывать из подзолистой земли в переплетении еловых корней - шляпка у них наружу, а тулово изогнуто, перекручено так и этак. По форме, то есть по наружности, такой гриб - чудище лесное, лешеево отродье, а по внутреннему содержанию - белотелый аристократ, без единой червоточкины

Кажется, я помню каждый гриб своего детства,

о каждом храню воспоминание, словно это приятели мои; они живы, пока я о них помню.

Шагая по шоссе уже лесом, я чутко прислушивался, не слышно ли людских голосов справа и слева. Признаться, не люблю я соперников в грибной охоте. Да и как полюбить их? Дело это потаённое, сокровенное, посторонний человек тут ни к чему. Вот иду однажды к своему заветному грибному месту и вижу: наискось пересекает мой путь мужик с корзинкой. А я уже увидел впереди: стоит *белый гриб*, молодой, рослый, румяный, я даже успел разглядеть, как через шляпку перехлестнула его веточка безлистая. Мне б поторопиться, и был бы он мой! Но мужик на три-четыре шага опередил меня, он этак алчно присел, с опаской оглянулся, а уж рука его тянулась к красавцу; и тотчас мы оба видим второй гриб, ещё более рослый, ещё более красивый... он завладел и им.

Лет десять прошло с тех пор, а досада не оставляет меня и поныне. Упущенная удача... не выгода в материальном смысле, а вот именно удача, которую я упустил, ротозей. Но не бежать же мне было, крича по-мальчишески: «Это мой, мой!». Вот с тех пор и опасаясь, что опередят меня - это всё равно, что быть обворованным или одураченным.

Не люблю я и громких криков в лесу, треска ломаемых сучьев, а более всего собачьего лая. Иная пугливая старушка в грибной поход берёт с собой и пса

- не знаю, способен ли такой укусить, но вот лаять они все горазды. «В лесу шуметь нельзя», - говорю я себе и прислушиваюсь. Но нынче, слава богу, только птички попискивают, да вдали слышен клёкот коршунов - я не раз видел их; они, должно быть, селятся на опорах электролинии. А больше-то некому нарушать тишину. Вот ещё ветерок слегка пошумливает в вершинах деревьев, а внизу так себе, лёгкое дуновение с запахами прели, смолы, хвои, багульника... Иногда откуда-то сверху вдруг посыплется дождевые капли, побарабанят по палой листве, и опять тихо.

Едва заметная тропка, знакомая мне да и не мною ли протоптанная, ныряет с шоссе в придорожную канаву и ведёт далее. Шагая по ней, я поднял воротник куртки, поёжился: холодновато оказалось в лесу, зябко. Это остужало мой азарт, и впервые посетило сомнение: а полно, есть ли грибы? Не глупость ли творю, отправившись с такими намерениями в лес и надеясь неведомо на что?

Но надежда ещё не угасла насовсем; я вышел на старую дорогу и тут замедлил шаги, стал пристально посматривать вправо и влево.

Обычно я навещался сюда весной. Тут так славно бывает! Молодая листва, ветерок веет ласковый и тоже как бы молодой, весенние запахи кружат голову. Весь лес щебечет птичьими голосами. Идешь - вон в развилине молодой сосны гнездо, низко, можно дотянуться рукой - небось, дроздиное; эти

птицы гнезда вьют невысоко. А вон ещё одно, гораздо выше - я знаю, это сорочье; по старой мальчишеской привычке невольно примерюсь: снизу ствол гладкий, а выше ветки сухие, хрупкие, добраться до гнезда трудно. С вершины сорока стрекочет, словно смеется надо мной: не достанешь, не достанешь.

В низинке цветут подснежники, у них загадочный, таинственный вид - это потому, что укромно тут, потаённо. Для кого эта красота? Понимают ли её деревья и птицы? И уже наступает пора купальниц, им я особенно рад: в деревне моей по весне они подступали к самому крыльцу нашего дома, а тут, в этом лесу, я словно к ним на свидание пришёл. Тихо, миротворно, волшебю...

Что цветы! Я ведь приходил сюда не затем, чтобы ими любоваться: одновременно с подснежниками появлялись из-под прелой листвы, из-под хвойного настила сморчки... или строчки? Я путаюсь в этих двух названиях. Впрочем, были и те, и другие - не повсеместно, а в двух-трёх облюбованных ими местах, где не слишком сухо и не слишком сыро. Вид у них не очень привлекательный, потому, помнится, случайно увидев их на рынке, я удивился: продавали за приличную цену, словно это *белые*. Я порасспросил знающих людей и в тот же день отправился в лес, набрал десятка два - получилось ресторанное блюдо, да и не одно!

Хочу ещё заметить вот что: я уже упомянул,

что тут идёт старая дорога. Она заросла молодыми ёлочками, кустарником и мхом, её едва-едва можно угадать: кое-где выступают камни, уложенные определённым порядком, - неужто была вымощена? А куда вела? Да, небось, в патриархальный купеческий городок Корчеву, ныне уже исчезнувший. Признаюсь, на этой старой дороге меня иногда посещают детские фантазии: ездили тут купеческие обозы... их подстерегали разбойники с топорами да кистенями... купцы в панике прятали свои деньги как придётся на обочине, зарывали под хвойный настил, в подзолистую землю - если поискать ныне, то вместо желанных грибов отыщется клад... Вот так идёшь, а тут мышиная норка под корнями сосны, и возле неё в кучке выкопанной земли блеснёт монета с ликом Петра Великого или Екатерины тоже Великой, или даже византийского императора. Откуда взялась? Естественно, тут спрятан купеческий кожаный кошель, кожа перепрела, осталась грудка золота... Дальше моя фантазия не развивалась: в магазин с этими монетами не пойдёшь, а коли проведуют нынешние разбойники о таком обрётённом мною богатстве, ограбят да и жизни лишат. Где золото, там и всяческое злодейство. То ли дело - *белые*! На эти сокровища никто не покусится, никто не отнимет. Грибная охота - дело благородное, не в пример всем прочим.

На дорогу эту, кстати сказать, летом выбегали

белые грибы, крепенькие да пузатенькие, - они этак словно бы вспухали на ровном месте, видные издалека. Наверно, в том какой-то смысл, что они предпочитают хоженные человеком места. Я подозреваю, что в диких лесах их и нет вовсе. Грибы, как птицы - галки, грачи, воробьи - держатся поближе к человеческому жилью. Помнится, в деревне моей *подосиновички* да *подберёзовички* в иные годы вдруг выскакивали в палисаднике нашего дома. Но птицы - прокормления ради, а грибы почему? Тут есть, конечно, биологическое объяснение, но оно не нравится мне. Я подозреваю, что грибы, особенно *белые*, - это не растения, а немножко люди. У них свои порядки, своё общинное устройство; подозреваю, что есть и верховный правитель - грибной царь, отдающий приказы: когда и где появляться на свет. У них есть и спесивые вельможи, и гордые рыцари, и щёголи в шляпах, и отважные герои... Это особая цивилизация, с которой мы не умеем общаться. А я как раз иду за ними не столько ради добычи, сколько для общения, для душевной радости.

Однако я отвлёкся... Старая дорога ведёт меня там, где излюбленное место *сыроежек*. Они тут обильно высыпают в конце июня или начале июля во всякий год. Если прийти вовремя, то можно наколупать целую корзинку молоденьких, величиной с напёрсток, с ядрышко ореха. В солёном виде ими можно угостить и дорогого гостя, но я не большой

охотник до сыроежек, мне, сами понимаете, нужны благородные белые.

Сегодня, увы, только несколько поганок попались на глаза, что отнюдь не вдохновило меня.

Я дошёл до первой просеки. Наверно, её прорубили очень давно, когда тянули линию электропередачи в деревню Речицы. Потом в линии надобность отпала, просека заросла, по ней поднялись узкой полосой молодые рябинки да ёлочки. Однажды по осени я набрёл тут на месторождение *настоящих груздей*. Они расположились вольготно по траве да по палой листве - крупные, телесно-белые...

Не тогда ли и сочинено мною стихотворение, о котором упоминал:

*Где невали малиновки тонко и слабо,
Да жучок с червячком над личинкой дрались.
Агрмадные грузди, как голые бабы,
На траве, на листве и на мху разлеглись*

Прошу извинить за вольное написание слова «агрмадные» - это ради того, чтоб - вы помните? - по начальным буквам строк можно было прочитать сверху вниз первую строку.

Я очаровываюсь даже названиями грибов: *груздь, маслёнок, рыжик, опёнок, мухомор, валуй*... Мне нравится даже такое название, как *мокруха* еловая - между прочим, лакомый гриб в жареном виде.

*Если глянешь под куст, - а кустов тут немало,
Хоть не верьте, хоть верьте - пленительный вид:
Обнажённый маслёнок стоит, словно фаллос,
Дикобраз-мухомор так же нагло стоит.
И такое владеет тобой вдохновенье -
Любишь даже поганку, что смерти бледней,
Вот и пишется дерзкое стихотворенье
О грибах... всё у них, как у нас, у людей.*

Те грузди были тут лет пять назад, и с тех пор почему-то не появлялись, наверно, откочевали в иное место.

За просекой старая дорога проступает ясно. На ней можно даже различить колеи от тележных колёс, а уж сколько времени тут не ездили на телегах! Небось, лет сто или более. И вот теперь размышляю: непрост был путь от Твери в Корчеву или из Корчевы в Тверь, непрост. Волга в той стороне, до неё с версту, но берегом ехать - много заливов, которые надо огибать; вот и проложили дорогу напрямик, а тут болота, низины, лесные чащи, буреломные завалы. Не позавидуешь и богатеям-купцам, если они сопровождали свои обозы - труд великий, сродни подвигу.

Иду по дороге этой, а недавний ветер повалил поперёк неё огромную сосну, ствол её - в обхват, вывороченные корни вздыбились многоруким или многоглавым чудовищем, мохнатым от дерновины и мха. А ещё лежат сухостоялые деревья помельче. Как тут проехать на повозках? Надо распиливать ствол.

Ну, мне распиливать не надо, я перебираюсь через упавшее дерево поверху, а можно и под ним. Прежде возле дороги обязательно встретится дружная стайка *лисичек*, они тут из года в год, привязаны к одному месту, для них тут малая родина. Но нынче и лисичек нет. Не хочет лес порадовать меня... Возле дороги, на солнечной её обочине, где земля прогрета, под еловым подростом охотно растут *белые грибы*, но только летом, а не теперь. И вот какая у них особенность: идёшь в одну сторону - нет их, а возвращаешься - вон один... и другой ... а потом и третий.

«Ну, как же так! - говорил я им. - Ведь вас же не было тут, ребята, когда я шагал час-полтора назад! Вы не могли вырасти за это время! Я очень внимательно вас выискивал - не было ни одного!».

Подозреваю, что они просто вышли из чащи лесной единственно затем, чтоб поприветствовать меня: «Здорово, грибник!». Мне кажется, они даже улыбаются при этом.

По другую сторону от дороги - роскошное болото, без водных зеркал, не хлюпкое. Боже правый, что за мхи здесь! Ярко-зелёные, глубокие, местами покрытые густыми черничниками. Ступаешь по ним, как по перине или как по пружинному матрацу. Именно сюда в начале июля мы ходим по ягоды. С некоторых пор я полюбил собирать чернику. Придёшь, сядешь, словно углубишься во мхи... мной овладевает ощущение, будто я утонул в них, стал частицей этого болотно-

лесного мира. Робкие осинки трепещут листвою от малейшего ветерка. Опьяняюще пахнет багульником. Птахи уже не боятся меня, порхают совсем близко, любопытствуя весьма дружески: а чем, мол, ты тут занят? Признаться, комары донимают, но я от них обороняюсь успешно.

Этот лес мы осваивали не одно лето. Когда впервые перешли просеку и угодили во мхи, нам казалось, что далее будут и вовсе непроходимые дебри да топь болотная, где можно заблудиться и затеряться насовсем. И вдруг впереди забрезжил свет, мы вышли к широкой просеке, по которой шагали опоры высоковольтной линии. Солнце сияло над этим пространством, две пары коршунов с клёкотом кувыркались над стальной опорой, высоко вознёсшей гирлянды фарфоровых изоляторов и провода, - то ли резвились, то ли ссорились.

Прежде, чем пересечь просеку, я пройду краем. Тут у дороги разросшийся куст и молодые ёлочки - под ними однажды я добыл три десятка *белых грибов*. Они выскочили после тёплого дождика, прошедшего накануне и сидели, утонув во мху по самые шляпки, как я в черничнике. Я мог бы их и не заметить, пройти мимо - так потаённо они росли - но, шагая мимо, остановился: мне почудилась в переплетении куста грибная шляпка. Развёл в стороны прутья-леторосли, а там...

До сих пор у меня перед глазами та картина:

румяные шляпки - с чайное блюдце, с бутылочное донце, с пуговицу... Двух или трёх самых маленьких я не тронул, только прикрыл мохом, чтоб не заметил никто, - пусть растут. Они потом и выросли. На этом же месте *белые* появились и в следующем году, но уж не в таком количестве, а всего два-три.

Немного дальше, если идти краем просеки, будет кочка-холмик из подзолистой земли. Наверно, эта кочка прежде была муравейником, но строители и жители его откочевали в другое место, а сооружение их осталось, поросло травой, покрылось игольником да обгрызенными шишками: белочка трапезовала. Вокруг этой кочки я каждый раз находил то, что искал: найдёшь парочку, а назавтра появляются такие же, как по волшебству.

Ещё дальше по границе леса и просеки идти нет смысла - там низинка, *белых* быть не может, потому как они благородны и по болотам не растут. Зато иногда я находил тут *рыжики*, только они - бог им судья! - появляются согласно непостижимой логике: вроде бы, вот дождик прошёл, тут бы и быть им, а нет ни одного. А в другой раз появятся без всякого дождика неведомо откуда, дружно так, словно цыплята из-под наседки.

Помнится, однажды как раз после тёплых дождей, шедших целые сутки, *рыжики* повыскакивали в великом многообилии - но это было не здесь, а возле дальнего болотца - меж деревьями, под кустами

словно посеял их кто из лукошка, они и явились разом, чистенькие, ровненькие, все как один величиной с пяточок и - без единой червоточинки! Тут надо кстати сказать, что возле того болотца, о котором упомянул, на возвышении то ли барсуки, то ли волки... неужели волки?.. вырыли норы - это разные входы-выходы одного логова. Мы это место так и зовём: *у волчьих нор*. Тут бывает немного страшновато, но *рыжики* неподалёку в низинке явно не боялись ни волков, ни барсуков, да и нас, грибников, тоже, потому и благоденствовали.

В другой раз я набрёл на них случайно: шёл напрямик из чащи лесной по месту совершенно безгрибному - так мне казалось - а в высокой, до колен, траве и прятались *рыжики*, тоже в великом множестве. К сожалению, не все были молоды и здоровы, многовато червивых. А только поди-ка распознай негодного по его внешности, он и червив, да красив.

Какялюблю брать *рыжики*! Не могу налюбоваться ими. Держишь на ладони - что за восхитительные формы! а какова расцветка! И гениальному живописцу не расписать так шляпки, исподние пластинки, ножку, эти капли росы на шляпках, эти тени на исподе её под пластинками... Что говорить, *рыжики* - само совершенство, но они лишены индивидуальности, потому как похожи один на другой, словно шайбы, отштампованные на станке.

*Как я жил среди них - квинтэссенция жизни.
Тут ни в сказке сказать, ни пером начертать.
Я люблю их, как любят волнушечку слизи.
Быть, как гриб-боровик - вот мечта так мечта.
Раз познав этот мир, будешь счастлив до смерти.
Ежовик и сморчок свою кровь горячат,
Засолённые рыжики в кадке - как черти!
А в желудке твоём - словно тигры рычат.*

Всё это воспоминания... Пока что я остановился перед широкой просекой. На ней не одна, а две высоковольтные линии. Между ними прежде была узкая гривка из матёрых елей и сосен; тут всегда я находил *белых*, да и не мелочь пузатую, а крупных - они стояли на виду, издали увидишь и, обрадовавшись, ринешься к ним, позабыв обо всём.

На этой гривке я иногда мог видеть белку или слышал её цоканье, вот и шляпки грибов погрызены ею. Я брал грибы тут со смущённой душой и утешал себя: ничего, белочка гораздо искуснее меня, грибника, засушит себе запас на зиму; к тому же вон целые гроздья шишек на вершинах старых елей тут и там – без пропитания не останется.

Была, была та лесная грива, но прошлым летом спилили старые ели да сосны, срубили молодые, навалили их в беспорядке, не обрубая веток, и так оставили: получилась засека, какими во времена стародавние русские люди оборонялись от вражеских нашествий с Великой Степи. А теперь зачем она

здесь? Оборонять от меня грибные племена?

Как нелепо я однажды сверзился с этих лежащих деревьев! Представьте, стал перепрыгивать с одного ствола на другой, а тот другой оказался ослизлым от росы ли, от дождя ли... я не успел даже осознать то мгновение, через которое брякнулся на землю, как говорится, всем прикладом. Да ведь как удачно, как счастливо! Угодил между стволами, в тесное пространство между ними... Однако что же счастливого, если потом кровоподтёк проступил от виска по щеке до подбородка? Должно быть, я стукнулся головой так крепко, что на некоторое время потерял сознание. Придя в себя, полежал, ошалело соображая: вроде, цел и невредим... Потом посидел, дивясь своему падению. Всё-таки это было счастливое происшествие, я если не с удовольствием, то с удовлетворением вспоминал о нём потом: ведь, ни ребро не сломал, ни руку-ногу, ни глаз не выбил, даже очки не разбил - целёхоньки лежали отдельно от меня.

На просеках этих в конце августа то и дело встречаются змеи - это ужи. Идешь, а они прямо на тропинке лежат, греются на солнце. Сегодня я их не встретил - небось, уже собрались где-то в тесный клубок и приготовились зимовать.

Нынче летом я несколько раз встречал и гадюку; одна такая встреча особенно памятна мне. За грядой вырубленных деревьев поднялся малинник, а ягоды

стало некому обирать, все достались мне. Они висели гроздьями, крупные, сочные... В очередной раз протянул я руку и тотчас отдёрнул - совсем рядом оказалась серая змея с тёмной изломанной полосой вдоль спины, с характерным крестом на голове... гадюка. Как вам это понравится? Она внимательно смотрела на меня, я столь же внимательно смотрел на неё - это длилось несколько мгновений. Она не ужалила меня, вежливо уползла, потому что я ведь её не обижал! И соперничать из-за ягод мы не могли.

Рядом с малинником в одну сторону - брусничник, небольшая такая поляна, в середине августа вдруг ярко покрасневшая от ягод. А в другой стороне и тоже недалеко отсюда - клюквенное болотце, оно тоже всё бывает усыпано ягодами, ещё зелёными в эту пору. Куда потом исчезает клюква? То ли покормились отлетающие на юг журавли, то ли перебралась-таки через засеку какая-нибудь отважная старушонка и собрала всё до единой ягодки. Я же предпочитаю чернику: с нею ватрушки - вкуснота! А с брусникой что? Только замачивать ради кисленького напитка.

«Боюсь: брусничная вода Мне не наделала б вреда.»

Преодолев просеку с грядой поваленных деревьев, я подхожу к тому месту, где за стеной елей и сосен обширная старая вырубка. Она уже заросла молодыми красавицами-ёлочками, кое-где между ними тянутся вверх тонкие березки да рябинки. Но ёлочки строже,

стройнее, целеустремлённее - к небу, к солнцу! - а потому красивей; у меня к ним особо нежное чувство, потому как все они этикие новогодние, праздничные.

Здесь тропа пролегла, неведомо кем протоптанная, а поперёк неё лежит ствол упавшей сосны - я всегда на нём присяду, не ради того, чтоб отдохнуть, а чтоб оглядеться, полюбоваться окружающим меня миром, послушать шум ветра в вершинах, стук дятла, попискивание незнакомых мне пташек. Забавно видеть: вот прыгает лягушонок... вот муравей тащит былинку - зачем? куда?.. вот чёрный жук ползёт - у него свои заботы... Жизнь идёт своим чередом, на всех этажах, от самых верхних, до самых нижних!

Опять полудетские мечты посещали меня: а не поставить ли на этом месте туристическую палаточку да и не пожить ли в ней? Как славно было бы! Утром проснёшься - птички щебечут, коршун издали окликает лес, белочка цокает... Да уж лучше бы не палатку, а небольшую бревенчатую избушку, в которой и жить-поживать, отрешась от мирских забот, не зная прискорбных и устрашающих телевизионных новостей: где что взорвалось, сгорело в пожаре, затопило наводнением, разрушило землетрясением, сколько людей при этом погибло... А ещё: платформы материков сдвигаются, сталкиваются... магнитные полюса перемещаются... метеорит величиной с Гренландию вот-вот упадёт на нас... куриный грипп

наступает... и мно-ого ещё всяческих страхов в нашей жизни!

То ли дело - жить в лесу и не знать ничего этого! Но вот сегодня холодно тут, сиротливо, уныло. Не выжить ни в палатке, ни в избушке, да и захочется всё-таки узнать, что там в мире происходит: может, добрые новости, словно ягоды, созрели?

Рядом с брёвнышком, на котором сижу, стоят две молодые ёлочки; за те несколько лет, что я хожу в этот лес, они выросли - были мне до пояса, а теперь вымахали эва как! Я всегда поздравляюсь с ними, то есть подержу за еловую лапку:

- Здравствуйте. Я пришёл, как обещал... Ну, как вы?

Судя по тому, как быстро они растут, им тут неплохо.

Набревне, которое служит мне сиденьем, вырезано крупно, признаться, не кем-либо, а мною: «Ю + К = Л» и рядом изображены два гриба, разумеется *белые*, если судить по шляпкам. Эти иероглифы появились несколько лет назад, я время от времени обновляю их. Наверно, человек глупеет от лесной красоты да от грибной удачной охоты, так что надпись, вырезанная мною, есть свидетельство прекрасного состояния души моей. А расшифровывать буквы не стану.

Перед тем, как посидеть тут на брёвнышке, я обязательно наведу на своё самое заветное, самое урожайное место. Оно никогда меня не подводило,

всегда было щедрым. Не стану здесь объяснять, где оно находится - у каждого грибника есть такое и не одно, их нельзя рассекречивать. Я называю это место «*возле пня*» - тут огромный пенёк от спиленной когда-то могучей сосны. Наверно, прежде он был смолистым, исключительно здоровым, потому и сохраняется много лет, но со временем всё-таки стареет, уже не столь крепок, вокруг него и на нём грибы хорошковые водят. Я наведалься сюда и теперь, но без всякого успеха, просто постоял, повспоминал - не мог без этого! - какие удачи выпадали тут мне: вот на этой канавке под молодыми ёлочками... *возле самого пня*... по солнечному краю... Бывало придёшь, а тут *белые*... ждут меня.

Ни у каких иных грибов не проступает так явно их индивидуальность. *Подосиновики* похожи один на другой, отличаются только величиной, и *грузди*, и *волнушки*, и *мухоморы*, и *сыроежки*... да все! И только *белые* имеют каждый свой неповторимый облик, свой характер, любой из них - личность!. Смотришь: вот стоит добрый молодец, бравый, в расцвете сил, бахвалистый... вот явный аристократ, изнеженный сибарит, смотрит спесиво... вот субъект самого разбойного облика, нахально заломил шляпу... вот румяный кавалер, а рядом этакая скромница, довольная своей внешностью... вот старый, умудрённый жизненным опытом, словно бы погружённый в свои думы...

вот любовники тесно прильнули друг к другу - не разнять...

Мне иногда кажется, что я слышу их голоса, их смех... Нет-нет, с психикой у меня всё в порядке, просто я восхищаюсь этими созданиями природы, и мне приятно думать, что они «немножко люди».

Я ушёл отсюда без разочарования или огорчения: отсутствие *белых грибов* было в то же время и их присутствием. Я мог их видеть в воспоминании своём, и самого себя, присевшего тут в восхищении и восторге.

Голубой сыроежки волнующий запах...

Рыже-серо-малиновый цвет валуя...

Испугается зверь: под еловою лапой

Бодрый стихотворитель сидит... Это я.

А вот теперь сижу на брёвнышке с вырезанными на нём иероглифами. Грибов нет... или всё-таки они где-то есть? Где они могут быть в середине-то октября?

Можно наведаться в то место, которое я называю «*под дубами*», хотя никаких дубов там нет, просто очень старые, кряжистые деревья стоят как-то так, словно это дубы. Года два назад я пришёл туда поздней осенью, но не в октябре, а в конце сентября - время уже безгрибное, ненастное, зяблое. И вдруг там меня ждала удача: *белые* выстроились неровной чередой,

друг за другом, огибая старую сосну: один, два, три... шесть, семь... одиннадцать штук! И нигде более в лесу ни одного гриба! Чем это объяснить?

Надо, надо и ныне наведаться *под дубы*. Я очень ясно представил себе, что вот приду, а там стоят юные *коровки* да моложавые *коровики* такой же чередой. А оттуда надо пойти «*к шляпе*» - это место урожайное, но не укромное, доступное со всех сторон. Я его недаром пометил: нахлобучил на высокий пенёк лист бересты подобно шляпе.

Оттуда надо пойти вдоль низины. Может быть, там выскочили молоденькие *подберёзовички*, как это и было не однажды: все, как один, величиной с палец, с маленькими шляпками-пуговичками, а стояли дружными стаями на кочках. Между кочек вода, а на них *подберёзовички*.

В начале нынешнего сентября в той низине набрёл я на месторождение *опёнок*. Они облепили старую берёзу, от которой остался только этот мёртвый ствол. *Опёнки* одели его шубой, покрывали от самого комля и поднимались выше, выше, а на самом верху располагались этакими пышными букетами, словно цветы, шляпки беленькие, каждый с монетку. Они и в солении остаются белыми, при этом чрезвычайно нежны на вкус, я всегда выискиваю их на тарелке среди прочих.

В тот день я сначала просто обрадовался *опёнкам*, но потом мною овладела жадность: аккуратно

срезавши белые шляпочки, я решил поискать, не попадётся ли ещё одно такое месторождение. Дело в том, что нельзя упустить время! Опёночный сезон краток - никак не более недели, за день-два постареют, потемнеют. И вот я одолел ещё одну закустаренную просеку, по которой протянута теплотрасса к деревне Речицы. А за этой трубой угодил в такой непроходимый бурелом! Великаны-деревья лежали так и смяк, одни прямо на земле, другие полуповалены, всё это заросло кустарником, высокой травой. Я героически преодолевал препятствия и был вознаграждён: мне попался второй берёзовый ствол в «шубе», потом и третий... Я даже запаниковал: смогу ли собрать все?

Возвращался я с тяжёлой ношей в обеих руках и с гордостью посматривал на встречных: небось, они знают, что такое молоденькие *опёночки* в солёном виде, но не умеют искать грибы, не могут совершать подвиги, какие совершал я.

Напрасно я сказал, что не люблю соперников в грибной охоте. На обратном пути, когда корзинка полна, я уже к ним благосклонен и приветлив. Однажды встретился блаженный старичок, с восторгом рассказывал:

- Вчера зашёл я в ельник, а они и сидят, да стоями, стоями. Я на колени перед ними встал: да родимые вы мои! да мне и не собрать вас! куда мне столько! Я уж их и в корзину, и в рубаху свою...

Это он про *белые грибы*. Но где именно так

повезло ему, того не рассекретил.

Довольно часто встречал я пожилого мужчину, с большой-большой корзинкой; завидев меня издали, он окликал радостно, и мы сходились обменяться впечатлениями. Этот грибник удачлив в своих походах, но берёт всё подряд, даже *свинух*, которыми я пренебрегаю, но не считает съедобными *еловых мокрух*, которыми не пренебрегаю я, чему он дивится.

Встречаясь посреди зимы уже в городе - он живёт на соседней улице - мы приветствуем друг друга так: «По грибы нынче не ходил?» - Говорят, *белые* пошли...» - «И рыжики...». Но что-то не встречался он мне в минувшем грибном сезоне. Может, болеет? Да и жив ли? Грибная страсть подняла бы и со смертного одра, исцелила бы.

Сидя на брёвнышке, я утешал себя воспоминаниями о былых удачах и решил, что за трубу теплотрассы мне нынче не надо забираться: не та пора для *опёнок*. Да и для *белых*, само собой разумеется, тоже. Однако я отправился далее намеченным маршрутом - *под дубы*. Ничего я там не нашёл, равно как и возле *шляпы*, потому совсем отчаялся. А напрасно! Не надо отчаиваться ни в какой жизненной ситуации! Мне встретились вдруг подосиновики - уже безнадежно старые, но их было много. Они этак расположились среди деревьев и кустов неровным журавлиным клином. Я укорил себя: надо было побывать тут дня три-четыре назад,

набрал бы их целую корзинку.

И вот как раз в минуту разочарования вспыхнул взор мой и расцвела душа: за чередой почерневших от времени и старости подосиновиков увидел сразу три больших *груздя*, каких именуют *настоящими груздями*. А за ними ещё... Они были в полной силе - каждый в чайное блюдце, свежие, не тронутые червяками, что летом случается, увы, нередко. Я набрал вместо желанных *коровочек* да *коровиков* не менее желанных груздей, омытых холодными осенними дождичками... в середине октября, когда вот-вот ударят морозцы.

Я был щедро вознаграждён за труды тороватым лесом! Я был полон благодарности к нему.

Ах, друзья мои! В этом грибном вдохновеньи

Мои грёзы вспорхнули в небесную синь.

И я так завершу стиховое творенье:

. - точка это. Или многоточье... Аминь.

Этим я и закончу свой рассказ о том, как ходил по грибы... в середине октября, накануне крепкого мороза, а затем и снегопада.

2007г.

СПОЛОХИ

ПАЛОМНИК

Раз или два в году он садился в электричку и ехал в Москву... поплакать. Нет, он так не говорил кому-либо или себе самому: мол, еду с этой целью. Просто отправлялся в поездку, повинаясь внутреннему велению.

Так бывало в прежние годы, так и теперь.

Всю дорогу он молчал, но не мрачно или грустно - напротив, был светел лицом, весел сердцем, однако же ни с кем из попутчиков не затевал разговора. У него было почти праздничное, почти торжественное настроение. И тем не менее он ехал, чтобы поплакать.

Нигде в ином месте с ним такого не случилось: мужчина крепкого телосложения, сурового вида, не обременённый болезнями, вполне благополучный в семье, более или менее успешный на работе - откуда слёзы? И тем не менее...

Он вышел из электрички, спустился в метро, доехал до станции «Охотный ряд», а отсюда по подземному переходу - к Красной площади. И во всё это время не чувствовал приближения слёз. Отнюдь! Ни печали, ни воздыхания. Он даже был уверен, что такого не случится с ним сегодня, - просто побудет в

том особенном настроении, при том светлом, лёгком состоянии души... и не более того. Вроде бы как очистится от душевных тягот, которые накопились в последнее время - за несколько месяцев. У кого их нет, этих тягот!

Он прошёл под аркой Воскресенских ворот и вот теперь почувствовал первое веяние, этак опануло его ветерком - не в лицо, а где-то внутри, в душе. На подходе к Казанскому собору умерил шаги, совсем неспешно, в задумчивости поднялся по ступенькам к входным дверям. На паперти храма надо бы перекреститься, произнести полагающиеся слова молитвы, но он, как и в прошлые посещения, не смог этого сделать. Не смог потому, что надо приневоливать себя, а от этого получилось бы уже фальшиво, непривычно для него.

Он не был религиозным человеком, вот в чём дело: не посещал церковных служб, не исповедался у священника, не принимал святого причастия... И даже нательного крестика не носил, находя в этом некоторое неудобство. Если заглядывал прежде в какую-либо церковь, а такое случалось, когда бывал где-нибудь в командировке, - то просто ради любопытства, словно в местный музей или картинную галерею: вот икона такая, а вот этакая. Чьи это лики? Спасителя и Богородицу отличал среди прочих, а больше-то никого. Церковный мир был ему чужд, непонятен. Он с интересом мог понаблюдать за

верующими и, заметив в ком-то из них то особенное, молитвенное состояние, думал: «Если они этак-то без насилия над собой, если не приневоливают себя, то я им завидую: они что-то знают, что-то постигли, а я нет. Но, может быть, они искренне обманываются? Как дети... Чего они хотят? О чём просят? Слышит ли их Тот, к кому они обращаются?».

С таким же любопытством он зашёл в Казанский собор и в самый первый раз - это случилось лет десять назад. Тогда собор только-только отстроили заново.

«Новодел, братцы! - подумал он тогда. - Это как муляж: яблочко румяное, красивое, но не живое».

А собор построили как-то очень быстро. Не было его, и вдруг он восстал, словно воскрес из руин. Вот здесь, в соседнем доме помещалась сберкасса, в которой удобно было держать деньги. Снимешь с книжки нужную сумму - напротив вход в самый главный магазин, в ГУМ. А вот тут, за углом сберкассы, лестница вниз, в туалет. Тоже удобство. Сколько раз он бывал там, не подозревая, что совершает святотатство! Такое просто не приходило ему в голову.

Но наступило время - словно день кары Божьей: государство пошатнулось, как конь после долгой изнурительной скачки, на пределе сил... деньги разом обесценились, нечего стало класть на сберкнижку, нечего да и не на что купить необходимое в главном магазине страны.

И вот восстал на этом месте Казанский собор во спасение грехов безбожных людей, куда он и зашёл впервые - словно бы подтолкнул кто. Зашёл, постоял... То было время горести, печали и утраты. Тогда и случилось с ним то, о чём он не мог поведать потом даже близкому человеку: словно некий плат опустился на голову и плечи - затуманились глаза слезами... и полились обильно. А до того он не плакал никогда, разве что в детстве.

Ныне же входил в собор отнюдь не печальным и вовсе не расположенным к слезам, но уверенным, что постоит тут, ни о чём особо тягостном не вспоминая, и будет ему хорошо. В другом месте так-то не удавалось.

В соборе было тихо и миротворно, хотя и довольно людно. Истовых богомольцев не видно, а только ходили любопытные, осматривались - наверно, туристы. Он огляделся, купил свечку, подумал и купил ещё две - зачем именно столько, не знал. За осторожным шарканьем ног в тихом говоре можно было различить итальянскую речь... два африканца тихо переговаривались и улыбались... кажется, ещё немки были, три пожилые женщины.

Он не разобрался в иконах. Наверно, между ними была какая-то иерархия: которая главнее, значительнее, та размером больше, на почётном месте, а менее важные невелики - так он рассудил по незнанию своему, по невежеству в делах церковных.

Одна из икон вроде как дежурная, к ней ставят свечи, приговаривая: «К празднику». Тут он, не перекрестясь, в рассеянности, зажгёт и укрепил одну из купленных свечей. Потом вторую - в другом месте, перед иконой, с которой смотрели на него сразу несколько ликов в нимбах. После чего отошёл в то крыло собора, где стоял в прежние посещения, - там уединённой. Поставил третью свечу, невольно перекрестился и поймал сам себя на том, что рука его повиновалась какому-то внутреннему велению, как инстинкту. Тут он стоял продолжительное время, не заставляя себя размышлять или вспоминать, - стоял просто так, почти бездумно, ничего не ожидая.

Невольно вспомнил свой деревенский дом, в котором провёл детство... герани на подоконнике... в переднем углу три тёмные иконы, посредине самая главная.

- Это Казанская, - поясняла мать. - Меня ею родители благословили, когда замуж выходила.

Перед иконой той стеклянная лампада, мать зажигала её по каким-то ей ведомым дням, от малого огонёчка просеивался в избе тихий миротворный свет... Невольно подумал теперь, что та лампадка словно бы поместилась куда-то глубоко в его душу, и во все эти годы она едва-едва, однако же теплилась в нём, не угасая.

Он вспомнил мать сидящей на крыльце - она вернулась с работы, присела отдохнуть... Зачем-

то ещё вспомнилась соседка, сердитая на него по причине яблочного разорения в её огороде... потом приятелей своих деревенских одного за другим вспомнил - они словно бы кричали ему что-то и хохотали... С одним из них, вспомнилось, шагали однажды из школы и бахвалились друг перед другом своим безбожием, даже плевали в небо: нет Бога!.. Девушку вспомнил, лицо её в ту минуту, когда сказал: «Можно, я тебя поцелую?»... Как звали ту девушку? Больше-то уж никогда не виделась - случайная подруга на один вечер, но вот поди ж ты, лицо её живёт в памяти.

Картины эти сами собой приплывали к нему, совершенно случайно. Вот как шли с женой от роддома, он нёс в руках запелёнатого своего первенца...

«Я знаю, тебя одолевают просьбами: одному то, другому это, - мысленно сказал он Богородице, смотревшей на него с иконы; сказал так, словно вёл с нею беседу: она ведь понимает мысленную речь. - А я ничего не прошу. Мне и так многое было дадено... может быть, даже не по заслугам моим...».

Он продолжал стоять, вспоминая свою жизнь, то жалея себя, то упрекая, то хваля... Так стоял и не заметил, как уже смахнул слезу... и ещё раз. Это потому, что вспоминалось далёкое-далёкое, трогавшее самую глубину души... и лампада матерна тихонько светила ему оттуда. Слёзы уже

катились по его щекам...

Он плакал.

ВСТРЕЧА

Возле магазина в толпе кто-то знакомым голосом сказал, явно обращаясь ко мне:

- Здравствуй...

И назвал меня по имени. Я оглянулся: старенькая женщина такого родного облика - это же моя мать! - разминулась со мной. Я этак всколыхнулся духом и чуть было не сказал в ответ:

- Здравствуй, мам.

Чуть было не спросил:

- Как ты тут оказалась?

Ведь она умерла более десяти лет назад! Ясно же, что это не она, а кто-то очень похожий.

Не сразу придя в себя, в некоторой растерянности - ведь это же её голос! это же она! - я вошёл в магазин, но тотчас вышел, поискал глазами: старушка переходила улицу неподалёку, и это была походка моей матери!

Я чуть было не кинулся следом, чтобы догнать, чтобы сказать:

- Это ты, мама? Как ты здесь...

Но ведь это же чистое сумасшествие: она умерла, я навещаю её могилу, правда, не часто, по весне

да по осени. Но... она только что сказала своим, а не чужим голосом, ласково и как-то даже обиденно:

- Здравствуй...

Словно иначе и быть не могло, словно и прежде меня встречала вот хоть бы вчера или позавчера. Если это посторонняя женщина, то откуда она знает, как меня зовут!?

Заныло сердце...

А старушка та уже перешла улицу и скрылась в толпе шагающих туда и сюда людей. Я сделал несколько шагов в ту же сторону, следом... Но зачем, зачем, боже мой! Вернулся, ясно ощущая: вот случись такое - встретил бы я свою давно умершую мать - однако же живую, живую! - среди бела дня здесь, на городской улице... Ведь не испугался бы и не удивился, а принял, как данность: вот она, вернулась... оттуда. Я приобнял бы её за плечи, как это делал прежде...

Однако же опять скажу: что за сумасшествие! Это же удел неврастеников - встречать умерших среди живых!

И вспомнилось мне, что о таком рассказывали мне прежде, да и со мною тоже бывало не раз: вдруг узнавал в толпе кого-то из тех, кто прежде умер, - этакое мимолётное узнавание, которое рассеивалось тотчас же: нет, это не он.

А что, если в нашем призрачном мире такое всё-таки возможно? Может быть, давно умершие

возвращаются и ходят меж нами, иногда проявляясь в том или ином облике, напоминая о себе? На какое-то краткое время они как бы выпадают к нам из некоего сопредельного мира, преодолевая ту невидимую препону, что разделяет нас. И вот являются на свидание с живыми, будь то родные, с которыми надо повидаться и чем-то им помочь, или враги, которым следует отомстить.

Вернувшись домой, я поведал о только что случившемся своей семье. Дочь встревожилась:

- Она тебе ничего больше не сказала? Только «здравствуй», и всё?

Встревожилась тем, что вообразила себе: вдруг мать подала мне какой-то знак, позвала с собой или о чём-то хотела предупредить, предотвратить беду.

- Нет, просто поздоровалась, - утешил я дочь. - И ласково так, словно очень рада нашей встрече. Но не остановилась, чтобы поговорить.

- Ты давно не был на кладбище, - укорила жена. - Давай завтра сходим, проведем.

И мы на другой день сходили на могилу моей матери, провели...

ГРОЗА

Она разразилась неожиданно, внезапно, как бы с ясного неба среди белого дня. Не природная

гроза, а похуже: Вадим Сергеич вынул из почтового ящика открытку с извещением, что по результатам недавнего флюорографирования он должен срочно явиться к врачу-онкологу. Словно бы стукнуло по голове: «Почему именно к нему, а не к терапевту?». Он насторожился и даже помрачнел.

Верно, несколько дней назад Вадим Сергеич прошёл эту процедуру, как проходил в прежние годы и - без всяких последствий. А теперь вот приглашали, да и так настойчиво, почти в приказном порядке. Неужели обнаружили что-то подозрительное? То есть гром грянул и молния сверкнула, но пока что не сразила наповал.

«А ну их! Не пойду, - поначалу решил он. - Небось, перепутали снимки. Я здоров».

Но тревога, пробудившись, не отступала, а к вечеру этого дня даже возросла. Спать лёг - не сразу смог уснуть.

«Делать нечего, велят - надо идти, - уныло подумал он наутро, всё более мрачней. - Онкология - дело серьёзное. Если это рак, то его надо задавить в самом начале, пока не поздно. Или уже поздно?»

И вот, отстояв очередь, Вадим Сергеич явился в назначенный ему кабинет.

- Раздевайтесь до пояса, - распорядился врач. - Посмотрим.

- Да что там смотреть! - пытался пошутить Вадим Сергеич. - Всё на месте: тут лёгкие, тут сердце...

Ничего не болит, ни на что не жалуюсь.

- Видите ли, - осторожно сказал врач, - есть затемнения в лёгких, надо проверить... Ложитесь вот сюда.

Стол, покрытый жёлтой клеёночкой, был холодный, скользкий. Вадим Сергеич поморщился, ложась на него. Всё тело мгновенно покрылось мурашками.

Пока врач настраивал рентгеновский аппарат, Вадиму Сергеичу пришло на память, и он бодренько так произнёс вслух:

*- А когда оборвутся все нити,
И я лягу на мраморный стол,
Будьте бережны, не уроните
Моё сердце на каменный пол.*

- Ваши стихи? - деловито спросил врач.

- Нет... Где-то прочитал... давно.

Врач рассматривал его грудную клетку со всех сторон.

- Что-то мне не нравится, - тихо сказал он сам себе. - Ну-ка, поглядим отсюда.

Вадим Сергеич надеялся на иное: ну, посмотрит врач, послушает да и отправит домой: идите, мол, с богом, вы здоровы. Но нет, вишь, придирчиво так рассматривает... Наконец, врач отпустил его, обязав прийти завтра: будут готовы снимки.

Встревоженный уже не на шутку, Вадим Сергеич отправился домой.

- Сомнения какие-то у врача, - озабоченно сказал он жене. - Заподозрил что-то.

Она отозвалась внимательным взглядом.

- Но пока ничего страшного не обнаружил, - поспешил он её успокоить.

Эту ночь он совсем плохо спал: проснувшись, тотчас вспоминал онколога... покрытый клеёнкой стол... Сердце беспокойно постукивало. Ночные страхи обступали Вадима Сергеича, он ворочался на своей постели: и спать не мог, и вставать незачем - глубокая ночь.

Он вспомнил кое-кого из знакомых с похожими историями - это ещё более растревожило его.

«Ну, вот и всё, - думалось ему. - Мне пятьдесят шесть... если рак лёгких, то жизни осталось месяца три-четыре...».

«Но погоди-погоди! - пытался он успокоить себя. - Ведь у меня ни повышенной температуры, ни кашля...».

Так-то оно так, однако же врач ясно сказал: «Что-то мне не нравится». И это уж не зря. Врач пожилой, опытный...

Вадим Сергеич, несмотря на свой мужественный вид, был мнителен, легко впадал в панику и в прошлой своей жизни «переболел» всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями: и чахоткой, и дизентерией, и сердечными недугами, и язвой желудка, и, прости господи, чем похуже, о чём никому

не скажешь. Всякий раз «болезнь» его рассеивалась сама собой, подобно наваждению, он благополучно «выздоровливал».

Наутро Вадим Сергеич отправился в поликлинику, чувствуя предательскую слабость в ногах: «Сейчас последует приговор».

Что-то изменилось в мире: ясный летний день как бы немного померк. Вроде бы, всё по-прежнему: и солнышко светило, и автомашины мчались по улице, и детишки играли в песочнице, и встречные девушки смеялись... Но всё же заметно помрачнело вокруг... невидимая тяжесть легла на плечи Вадима Сергеича и придавила, он шагал, немного сутулясь.

Вчерашний врач долго крутил перед собой снимки, рассматривая их на свет.

- Не хочется мне вас облучать лишний раз, - признался он, - но давайте посмотрим, чтоб уж наверняка.

Что означало это «наверняка»? Он уже готов вынести страшный диагноз?

Вадим Сергеич снова лёг на холодный стол. «Будьте бережны, не уроните Моё сердце...».

Врач теперь просветил его со спины. Потом сел к столу и стал что-то писать, а пациенту велел одеться, после чего и вынес окончательный приговор:

- Всё-таки это не то, что я заподозрил. Было опасение... но это просто известковый нарост на ребрах, в двух местах. Что ж, соответствует вашему

возрасту. Так что идите домой, не волнуйтесь, всё у вас в порядке.

Вадим Сергеич шагал от поликлиники - словно на крыльях летел! Всё его естество ликовало, хотелось громко запеть. В пятьдесят шесть лет он здоров! Он будет вкушать и далее радости жизни!

Зашёл домой, бодро и даже этак небрежно бросил жене:

- Врач сказал, что можно и в космонавты.
- Слава Богу! - облегчённо отозвалась она.

Он сел было за стол - не сиделось. Прилёг на диван - не лежалось. Хотелось какой-то деятельности.

- Вот что, - решил он, - пойду на Волгу, искупаюсь.
- Только не долго, - предупредила она. - Обедать будем.

Он вышел на берег, радостно, даже этак дерзко оглядел пляж, на котором тут и там лежали загорающие женщины. Теперь он имел полное право смотреть на них дерзко.

Он вышел на берег, радостно, даже этак дерзко оглядел пляж, на котором тут и там лежали загорающие женщины. Теперь он имел полное право смотреть на них дерзко.

Солнышко светило ослепительно, птички чирикали восторженно - всё радовалось не чему-нибудь, а избавлению Вадима Сергеича!

Он быстро разделся, шумно вбежал в воду, подняв фонтан брызг, нырнул, вынырнул и поплыл саженками, опустив лицо в воду. На взмахе правой руки жадно хватал ртом воздух и плыл, плыл, пока не выбился из сил. И вот когда в очередной раз поднял голову из воды - ужасом пронзило его: гладь реки встала перед ним почему-то вертикально...

и не было лишней секунды, чтоб сообразить, что произошло... не хватило глотка воздуха... он хлебнул открытым ртом воду...

Никто из лежавших на берегу не заметил, что вот плыл человек, побултыхался... не вскрикнул, не позвал на помощь... и исчез.

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Мы купили в магазине двух попугайчиков из породы неразлучников, совершенно очарованные красотой их оперения: один изумрудно-зеленый, другой жёлтый, прямо-таки золотой. Клетку для них мы тоже купили, но жили наши птички не в ней, а просто летали свободно по комнатам. Впрочем, они предпочитали кухню, а в кухне только один её угол, там мы укрепили для них несколько прутьев. В клетку они заглядывали, но редко, больше любили свободу. А кто её не любит?

Уже через несколько дней эти маленькие пташки обнаружили каждая свой характер, свой нрав - это было просто удивительно! Наивный человек, я никогда не подозревал, что такое может у них быть. То есть у крупных, вроде ворон или сорок - такое ещё можно допустить, но у воробьёв, у синичек, у ласточек или вот у попугайчиков - это, что же, каждая такая кроха имеет свой неповторимый нрав-характер? Каждый

сам по себе и не похож на прочих? Оказалось, так.

Зелёный не давался в руки, и поймать его не представлялось возможным. А вот *золотой* был почти ручной. Дело в том, что в первый же день он очень неосмотрительно ринулся в окно, наткнулся на стекло и, наверное, повредил крылышко - наша вина! С тех пор уж не летал, только накоротко вспархивал, если пустить его погулять по полу. Он очень скоро перестал нас пугаться и путешествовал по столу среди тарелок, когда мы садились обедать или ужинать. Конечно, тут был риск: он мог утонуть в тарелке с супом, но мы его оберегали.

Для нас загадочно было, который из попугайчиков «кавалер», а который «дама». Листали справочник, спрашивали в магазине - ответы получали разные. В ссорах между ними всегда побеждал *золотой*, потому мы решили, что именно он «кавалер». *Зелёный* же не проявлял интереса к товарищу, хотя тот и стремился сесть рядом, дружески поталкивал его боком - никакого ответного движения.

Зелёный был флегматик. То есть он любил просто сидеть, нахохлясь, или поспать. Может, это был старый попугайчик, ему уж не до молодых забав. Поклюёт семечек, сядет на веточку, сунет головку под крыло и спит. Потом опять поклюёт, и опять спит. Так день за днём. А без него и *золотой* грустил. Мы были разочарованы.

И вот я принёс из магазина третьего попугайчика, также покоровшего меня своим опереньем: нежно-синего, «поднебесного» цвета. О, этот был герой! Он бодро летал из комнаты в комнату и смело приступил в зеленому с любезностями. И хоть тот опять же никак не откликнулся, но спали они на веточке, тесно прижавшись друг к другу.

Золотой при виде такого предательства, обиделся, насупился и на ночлег устраивался отдельно от них.

Поднебесный пробуждался рано утром и устраивал кутерьму. Кажется, он кричал своим товарищам: «Да вы что! Смотрите, новый день наступил! Просыпайтесь! Спишь - не живёшь!». Следом за ним принимался летать и *зелёный*. Но не ради удовольствия, не от радости, а в тревоге. *Золотой* следил за ними завистливым взглядом. Полное превосходство *поднебесного* соперника явно удручало его.

Мы боялись, как бы они не улетели на улицу, потому форточки держали закрытыми, а коли открывали, то непременно задёргивали тюлевую занавеску. Но было жаркое лето, не сидеть же нам в квартире с закрытыми окнами! И вот однажды мы не уследили за *поднебесным*...

Это был очень отважный, сообразительный и предприимчивый попугай. Он догадался, что если взлететь на гардину да соскользнуть по тюлевой

занавеске вниз, то тут он достигнет приоткрытой форточки, за которой - воля! великое пространство! целый мир!

Вот он и соскользнул, чуть задержался на «пороге» форточки, окидывая орлиным взором открывшуюся перед ним даль и близь - уже не тесную кухонку нашу, а улицу, за ней Волгу, а далее лес... и уже не белёный потолок, а высокое голубое небо над ним, и уже вольный ветер опажнул его крылышки. Мы замерли, видя это, а он цвикнул торжествующе и полетел...

Наверно, он испытал то же самое, что и космонавт, вышедший в открытый космос и увидевший Землю, бескрайнее пространство со звёздами.

От его победного птичьего восклицания мы вздрогнули и переглянулись. В отличие от нашего отважного попугайчика мы понимали, чем это для него может обернуться. Выбежали в лоджию - как раз перед нашими окнами вершины берёз. Где-то в листве их почудился нам знакомый голосок - он уже был не торжествующим, а этаким озадаченным. Ворона вдруг появилась неведомо откуда, нагло прокаркала...

Я кинулся вон из квартиры - в лифт, на улицу... А на что надеялся? Ведь не поймать, даже если увижу его! Он теперь на воле! Если бы *золотой* совершил такой опрометчивый поступок - его можно было бы поймать. Но не *поднебесного*. Я ходил под берёзами,

высматривал в их кронах - нет ли среди зелёных листьев голубого «листочка». Нет, не видно и не слышно.

- Ну что? - спрашивала жена сверху.

- Его нет, - отвечал я и даже пошутил: - Может быть, он улетел за Волгу, в лес?

Когда вернулся домой, она сидела с таким горестным видом, что того и гляди заплачет.

- Вот уж несчастье придумала себе! - сказал я, хмурясь. - Ты не девочка по третьему году.

- Жалко, погибнет, - отвечала она.

- Я куплю тебе другого попугайчика, не простого, а золотого. Согласись, от этого было много беспокойства: он не давал нам спать по утрам, ободрал обои в том углу.

- А всё равно жалко, - возразила она. - Я к нему привыкла. Теперь его съест ворона.

- Он сделал свой главный жизненный выбор - совершил подвиг! Продемонстрировал волю к свободе! Он заявил нам: лучше жить один день на воле, чем долгие годы в клетке.

- В квартире, - поправила она. - Разве ему у нас было плохо?

Она горевала неподдельно и немного утешилась, лишь сказав:

- Может быть, он просто перелетел в соседскую лоджию. Я даже видела, как он порхнул именно вдоль стены, а не на дерево.

- Там его поймают, - подхватил я, - и будет он жить-поживать.

Не знаю, горевали ли о пропавшем товарище *зелёный* и *золотой*. Они о том ничего нам не сказали.

Кажется, на другой день или пару дней спустя, увидел я под кустом у соседнего дома пёрышки нежно-синего, поднебесного цвета, но я не сказал об этом жене...

ГОЛУБЧИК

Серафим Сергеич сорок два года проработал в школе учителем истории и вышел на пенсию, не заслужив никаких званий, кроме прозвища Голубчик. Прозвище это закрепилось за ним давным-давно, так его звали не только ученики, но и коллеги. Не в глаза, конечно, а за спиной.

- Голубчик, Ледовое побоище было вовсе не под Полтавой, - говорил Серафим Сергеич отвечавшему у классной доски ученику, - и русские не косили там своих врагов из пулемётов. Вы всё напутали, голубчик. Я вам двоечку поставлю, хорошенькую такую двоечку...

На него не обижались, поскольку он всегда бывал добродушен и незлобив, потому и Голубчик. Теперь бывшие ученики, ставшие уже взрослыми,

увидев его на улице, говорили с улыбками:

- Голубчик идёт... Старенький стал.

Жена Серафима Сергеича, кстати, тоже бывшая учительница, в последнее время часто болела, и он очень заботливо ухаживал за нею. Сам ходил на рынок за продуктами, знал, где и что можно купить подешевле.

- Мне для моей собачки косточек, - просил он продавщицу.

Хотя никакой собачки у него не было. Вернувшись домой, старательно записывал в тетрадку расходы вплоть до копеек и принимался за кухонные дела: варил суп, кашу...

В середине дня Серафим Сергеич спускался со своего пятого этажа вниз - проверить почту. Никаких газет он не выписывал и писем не получал, но каждый день проверял свой почтовый ящик, вернее, свою ячейку в общем ряду других. Но и у соседей было пусто: отвыкли люди и от чтения газет и от писания писем, но в пятницу или в субботу почтальонка клала двум-трём соседям по газете, они их всё-таки выписывали ради телевизионных программ.

Однажды было так: из ячейки живущих на втором этаже газета торчала таким образом, что можно было её легко достать. Вот Серафим Сергеевич и соблазнился, вынул и унёс с собой. Не спеша просмотрел телепрограмму, выискивая исторические темы, которые он более всего любил,

а потом аккуратным образом сложил и вернул на прежнее место.

«Я же не ворую! - оправдывал он себя. - Я же не присваиваю!».

Через неделю ему снова захотелось таким же образом достать газету, но не получилось. Это было досадно: негде посмотреть телепрограмму. Он примерился и - вот удача! - отпер одну из ячеек собственным ключом. Не сразу, но удалось открыть.

С тех пор так и повелось: по пятницам Серафим Сергеич доставал чужую газету - «Я же не ворую! Я же просто читаю и верну!» - приносил домой, потом возвращал. Так было и месяц, и два, и полгода... Он делал это уже привычно, хотя, признаться, его не покидало чувство неловкости: всё-таки что-то в этом было стыдное для него. Потому он, перед тем, как совершить невинное воровство, оглядывался - не видит ли кто? - быстро отпирал, доставал и тотчас поднимался по лестнице. Но однажды как раз в тот момент, когда он сунул ключ в скважинку чужого почтового ящика, на втором этаже именно в той квартире, где жили подписчики этой газеты, хлопнула дверь - кто-то вышел. Серафим Сергеич заторопился, а ключ на беду застрял, а был он в одной связке с другим ключом - от квартиры.

Сосед со второго этажа уже спускался по лестнице! Может быть, он тоже шёл проверить почтовую ячейку? Серафима Сергеича мгновенно

окасило жаром, словно кипятком. Он в панике крутил так и этак - ключ не вынимался! А шаги всё ближе - топ, топ... Серафим Сергеич мгновенно представил себе, как сосед увидит его и скажет: «А что это вы? Воруете нашу газету?».

Оглянувшись, он уже мог видеть ноги ступающего вниз... это была женщина, соседка. И в самый последний момент, когда она должна была увидеть его на месте преступления, судьба сжалилась над Серафимом Сергеичем: ключ вдруг освободился.

«Голубчик мой!» - чуть не вслух выдохнул он и шагнул прочь. Он даже не ответил на «Добрый день», сказанное соседкой.

Вернулся домой сам не свой... Лёг на диван, стараясь успокоиться. Сердце колотилось так, что было больно.

«Ещё бы одна секунда... Всего одна секунда, и меня, мелкого воришку, застукали бы... Как это нехорошо, как это унижительно! Гадко, недостойно...».

Он даже застонал.

«За что мне такое наказание! Ведь я не воровал, не воровал... Я возвращал!».

- Ты не заболел ли? - спросила жена из соседней комнаты.

- Нет, - отозвался он.

Но Серафим Сергеич именно заболел...

ОГОРОДИК

Выбираясь из леса с грибной корзинкой, я решил спрямить путь и на опушке угодил в заросли кустарника. Высокая трава скрывала ямы, в которые я оступался, некоторые были с водой. Я уж и не рад был своему прямому пути, но возвращаться было поздно, теперь хоть вперёд, хоть назад - переплетение кустов со всех сторон.

И вдруг выбрался на свободное пространство: передо мной открылась ровная полянка, на ней возделан небольшой огородик, совсем маленький, словно бы на забаву кому-то. Тут поместилось несколько грядок: на одной кудрявилась морковка и перья лука топорщились, на соседней молодая свеколка и даже зародыши огурчиков, меж ними укроп... А на следующей грядке густо росла клубника - крупные, спелые ягодки выглядывали из листьев. Два боровочка молодой картошки вытянулись вдоль этих гряд, и над ними веселый подсолнушек-подросток собирался расцвести. Тропочка вокруг грядок разметена и спускалась вниз, к яме, там проблёскивала вода.

Ещё разглядел я под кустом скамеечку, небольшую, для одного человека, вдвоём не усидеть. Возле скамейки той таганок на трёх ножках, под ним угольки и рядом полешки сухие в аккуратной поленнице - это, как догадался я, хозяин огородика

чаепитие себе устраивал. Небось, где-то под кустом припрятана и посуда. По углам - георгины, садовые ромашки, настурции, ещё какие-то цветочки, названий которых я не знал... Всё так мило, всё так заботливо обихожено.

«Чувствуется женская рука, - размышлял я. - От мужика остались бы бутылки из-под пива, окурки. Тут хозяйничала женщина... небось, старушка».

Ягоды клубники соблазнительно рдели на грядке. Но я деликатно отступил, стараясь не оставлять следов, чтоб не беспокоить хозяйку, которая вот-вот может явиться сюда. И всю обратную дорогу домой я думал о ней - о хозяйке потаённого огородика, так аккуратно, так любовно возделавшей его.

«Нет, не старушка, - думалось мне. - Просто пожилая женщина...».

Зачем она это затеяла? Явно не от нужды - для души. Небось, овдовела или у мужа другие интересы - в гараже пропадает; а земельного участка с дачкой нет, если же и есть, то там молодые хозяева - дети или внуки да и соседи вокруг беспокойные... Нет уединения, а ей-то нужна тишина и покой. Вот она придёт, водички из ямы принесёт, грядки польёт, травку лишнюю на них повыдергает и сядет на скамейке посидеть... Хорошо!

«Живём в маленьком городе, размышлял я, - ни театра, ни филармонии... и вот она устроила себе то

и другое».

Я даже позавидовал этой женщине: вокруг милые декорации - лес, разнотравье, цветы, а в кустах птички поют, листва шелестит - чем не музыка? Ишь, как славно она устроилась!

Пока шагал уже дорогой, мне навстречу попала старая женщина, потом ещё одна. Но ни та, ни другая не соответствовали облику хозяйки потаённого огородика, как я тот облик себе нарисовал в воображении своём. Я как-то сразу расположился к ней душевно. Даже подумал: вот наведаюсь сюда ещё раз, а она поливает тут свои грядки... или сидит, любуясь на них.

Но нет, она безусловно хочет оставаться одна, в том ей великое утешение и радость.

Недели две после того дня я ходил по грибы, но без особого успеха: сначала, вроде бы, густо пошли сыроежки, а потом исчезли, словно по команде. А я-то ждал и надеялся: вот-вот пойдут белые. И вот однажды в неожиданном месте, возле лесной тропы напал я на выводок моих желанных - один крупный, а возле него пяток помельче... словно насадка с цыплятами.

«Положу на скамейке той женщине в её огорожке, - решил я. - Она придёт, обрадуется, подумает: побывал добрый человек».

Воодушевлённый этой идеей пробирался я через кусты, гадая: где он, тот огорожок? Вроде бы

вот тут... или там? Угадал, нашёл... и замер: весь возделанный столь любовно участок земли был злодейски истоптан. На том месте, где грядки, - след большого костра... Таганок смят, кусты поломаны, листва их опалена огнём, подсолнушек казнён: голова отрублена...

Прямо-таки пляска дикарей происходила тут, не хватало только человеческих останков - в моей детской памяти жила картинка из «Робинзона Крузо»: череп съеденного человека и дымок над головешками костра...

Я отступил и ушёл с поникшей головой.

ПОДРОБНОСТИ

Когда я жил в городе Осташкове на Селигере, был у меня там приятель Юра Авдошин. Он работал фотокорреспондентом в районной газете, а я приехал в этот город собкором от областной газеты, что и сблизило нас. Не скажу, что мы были друзьями, но вот именно приятелями. Иногда он с женой своей Валей приходил к нам в гости. Мы укладывали детей спать и просиживали вечер за дружеской беседой.

Юра был тем хорош, что мог выпить, но не более, чем одну-две рюмки, а я не люблю пьяниц. Он был занят в разговоре: например, мог порассказать, что во время военной службы в Германии его,

журналиста, очень ценили и уважали, даже генералы и партийные вожди. Он утверждал, что имеет ружье «из коллекции Геринга», что фотоаппарат его изготовлен по спецзаказу, «цейсовский», и так далее. Кстати сказать, охотником он никогда не был, и ружья его я не видел, но фотоаппарат, действительно, имел хороший.

У него был, пожалуй, только один недостаток: придя с Валею к нам в гости, он тотчас «затевал канитель», по выражению моей жены, то есть начинал ухаживать за нею, приговаривая, что я, муж, страшно ревную. Я не досадовал по этому поводу - досадовала моя жена.

- Ладно, был бы завидный ухажёр, - говорила она мне, проводив гостей, - а то так себе, сухой стебель на ветру.

Он, верно, был исключительно худ, «одна арматура», к тому же по-цыгански смугл - одним словом, незавидный кавалер. Должно быть, он тяготился этим, потому и набивал себе цену в глазах своей жены: мол, нравится женщинам.

Из Осташкова мы разъехались в разные стороны: я с семьёй перебрался на жительство в Великий Новгород, а Юра Авдошин стал директором типографии в посёлке Пено. Мы иногда переписывались, звали друг друга в гости. И вот однажды вернулся я из командировки, жена моя говорит:

- Тут без тебя Авдошин был со своим шофером. Едва переступил порог: «Ой, Катя, спаси... дай аспиричику, голова болит».

Оказывается, ехали они на «газике» в Ленинград за какими-то запчастями для своей типографии, «газик» старенький, быстро ехать не может, в кабине воняет бензином. А путь-то неблизкий!

- Я их покормила, чаем напоила, и всё бы хорошо, но он своему шоферу всё толковал, как ты будешь ревновать, когда вернёшься из командировки. На обратном пути обещали заехать.

- Ну, - сказал я, - теперь у него разговору будет! Мол, мужа не было, а мы тут с Катей...

- Будет, будет, - подтвердила она.

- Слушай, а давай его разыграем, а? Я скажу, что как раз был в Пено у его Вали. Он здесь, а я там. Такое, мол, вышло совпадение.

- Не поверит.

- Поверит! Ты мне немного подыграй.

И вот на другой день звонок в дверь - Юра. Он сразу же с порога:

- Ну, извини... Я тут без тебя... - это Авдошин мне прямо с порога. - Ты-то в командировке, а мы тут с Катей...

- Да, - отвечал я уныло. - Она мне всё рассказала. Он опять был не один, а с шофером.

- Ну, ты не переживай! Мы просто так посидели... ха-ха! Шофер, правда, на кухне курил, а мы тут, сам

понимаешь, чай пили.

Он так долго мог токовать, как тетерев на току, поэтому я его перебил:

- А я как раз был в Пено... заходил к Вале, тебя нет... Такое совпадение.

- Ты был в Пено? Врёшь!

И вижу: он не верит, хотя и насторожился немного.

Жена моя стала собирать на стол: гости с дороги, надо накормить. Юра продолжал балагурить:

- Ишь, ревнует... Небось, замучил жену...

- А мы там с твоей Валей вас вспоминали.

Я видел, что он мне не верит. Тут нужны какие-то дополнительные подробности, именно они нас убеждают. И я вынул главный козырь:

- Кстати, она при тебе ногу-то сильно поранила?

Он остановился, как лошадка перед препятствием:

- Н-нет.

- Вот в этом месте.

Я показал на бедро. Он слегка переменялся в лице.

- А она, что же, тебе показывала?

- Ну, Юра, что такого! Твоя жена поранила ногу... Я помог ей перебинтовать... Говорит, шагнула неловко с табуретки.

Юра замолчал.

- А где ты ночевал? - спросил он мрачно.

- Ну, ты же знаешь: у вас в Пено гостиницы нет.

- Ну да, ну да... А сынишка где был?

- Она постелила ему... за шкафом.

Есть ли у них шкаф, я не знал. Оказалось, попал в самый раз: шкаф имелся. Юра совсем скис.

- Катя! - крикнул он моей жене, хлопотавшей на кухне. - Оказывается, он был в Пено.

- Да, - отозвалась та. - Он мне признался: ночевал у Вали... Теперь вот думай, жена, что там у них было. Но не разводиться же мне с мужем - у нас двое детей.

- Да, - согласился Юра растерянно.

И уже ни пить, ни есть не хотел. Я его пожалел:

- Ладно, успокойся: не был я в Пено.

- А откуда ты знаешь, что она поранила ногу? - подозрительно спросил он.

- Я это просто сочинил вот прямо сейчас. Приедешь - проверь.

Он сразу повеселел.

- А ты что подумал? Да я тебе и не поверил вовсе! Не-ет, меня не проведёшь. Я только сделал вид! А мы тут с Катей без тебя...

И он снова начал свою «канитель». Пришлось придумать ещё парочку подробностей, чтоб он унялся.

Юра опять скис.

- Катя, так он был там или не был?

- Был! - твёрдо сказала та. - Ты что, не знаешь моего мужа? Да он ни одной юбки не пропустит!

Ну, это был уже пересол, это она сильно

преувеличила. Тут Юра мог бы и разгадать наш розыгрыш. Однако понурился мой гость.

- Не был я у вас в Пено, - тихонько шепнул я его молчаливому спутнику.

- Да я уже понял, - кивнул тот.

Кажется, он был самый умный среди нас.

Юра заторопился уезжать. Кажется, он обиделся на меня. Во всяком случае больше мне писем не писал, в гости не звал и не заезжал. Иногда присылала открыточку жена его Валя. По странной случайности она, действительно, ушибла ногу... и, вроде бы, в том самом месте.

Последнее известие о судьбе Юры дошло до меня недавно. Сказали: «Бомжует...». Если это правда, то жаль. Я вспоминаю о нём по-доброму и доньше ему благодарен: он сделал нам несколько хороших семейных фотографий, которыми я дорожу.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В гостиничном ресторанчике за одним столом случайно оказались совершенно незнакомые друг другу молодые люди: двое мужчин и две женщины. Время вечернее, тесно было в ресторане том, официант посадил их, как пришлось, - значит, так судьба распорядилась.

Перезнакомились живенько, потому как

это было общим стремлением, заказали ужин. За танцами определилось, кто с кем в паре. Виктору досталась Надя, худенькая такая, со светлой куделькой завитых волос над веснушчатым лбом. Вообще-то он предпочёл бы другую, та покруглее и поразговорчивее, но её перехватил проворный сосед. Но потом, когда мужчины выпили водочки, а женщины красненького вина, Виктору и Надя стала нравиться, он даже воодушевился.

Разговор у них за столом не утихал. Вечер пролетел незаметно. Молодые мужчины расплатились с официантом и за себя, и за молодых женщин, те позволили себя провожать - недалеко, по гостиничному коридору, на разные этажи. Виктор стал уговаривать Надю зайти в его номер: мол, посидим, поговорим без посторонних. Надя отнекивалась, но как-то не очень решительно, не наотрез, как бы колеблясь. Да и он приглашал, вроде бы, тоже ради вежливости. Однако зашли.

Он стал обнимать её, но опять-таки не слишком настойчиво, а как бы исполняя долг: раз уж остались наедине, надо поприставать, иначе, мол, женщина может обидеться. Она же встала у стены, обороняясь локтями, - не отталкивала, но и не отзывалась на объятия да поцелуи.

- Не надо, - повторяла она.

И вовсе не была взволнована, а так себе, слегка заинтересована, что же он предпримет далее. Он

стал понастойчивее, даже подтолкнул к кровати, она неловко села...

- Ты мне нравишься, - говорил он ей на ухо, хотя никто их не мог слышать. - Чего ты боишься?

- Не надо, - ещё раз повторила она.

А потом, когда всё случилось, бурно расплакалась, сидя на кровати и прижимая к лицу то, что попало ей под руку - это был его галстук.

- Ну, зачем! Ну, зачем мы это сделали! - повторяла она. - И тебе не надо, и мне...

И в самом деле, словно бы по обязанности всё совершилось, словно нехотя исполняли какой-то обязательный ритуал, соблюли некую традицию.

- Ведь я люблю его! - она прямо-таки захлёбывалась в слезах. - Люблю... Зачем же...

«Его» - это значит, мужа. Она что-то о нём рассказывала, когда ещё сидели за столиком в ресторане: вроде бы, он у неё покладистый... любит готовить... к её дню рождения сам печёт торт...

- И как же теперь с этим жить?.. что же теперь?

«Я тоже люблю, - подумал Виктор о своей жене. - Зачем мы это сделали?»

Он вздохнул виновато.

«Пить надо меньше, вот что... Да ведь мы не все пьяные. Однако были б трезвые - вряд ли так-

то...».

Раскаяние Виктора было столь явным, что Надя поняла его состояние и пожалела этак по-матерински.

- Мы с тобой очень плохие люди, - убеждённо сказала она. - Нам и не замолить теперь этот грех.

- Не замолить, - согласился он и опять вздохнул.

Она стала его утешать, даже обняла. И он отозвался на эту её ласку - тоже обнял, почувствовав разом всё её гибкое тело. И вот, повинувшись животному инстинкту, они обнялись уже крепко и предались страсти прямо-таки яростно, бесстыдно, самозабвенно...

А потом говорили... Он - о своей жене, которую любит... она - о своём муже, таком славном малом. И о двухлетней дочери Виктора, и о трёхлетнем сынишке Нади... Оба находили в этом странное удовольствие... какое-то соответствие тому животному чувству, что толкнуло их друг к другу.

Я ТАКОЙ!

Прежде, когда я жил в другом городе, не где ныне, у меня был мой личный враг - человек, которого я ненавидел столь сильно, что испытывал физиологическое отвращение, до крайней брезгливости, до тошноты. Я не мог смотреть на него, не мог произносить его фамилию, мне

неприятно было слышать всякое упоминание о нём. Наверно, до той поры я жил очень благополучно, потому что не встречал подобных людей.

Мне казалось - и я даже был в том уверен! - что люди испытывают те же чувства, общаясь с ним. Но я мог не раз убедиться, что это не так. Может быть, они из чувства самосохранения не вступали с ним в конфликты. Потому как унижительно враждовать с нечистоплотным человеком, лучше поскорее разминуться.

Он мог переспать с какой-нибудь женщиной и на другой день с поганым хохотком во всеуслышание рассказывать об этом всем и каждому; мог взять в долг денег у доверчивого простодушного человека и не отдавать, смеяться ему в лицо; мог лгать самым грязным образом и не испытывать смущения. При этом бахвалисто, с гордостью заявлять:

- Я такой!

За ним тянулся длинный хвост мелких и громких скандалов. Он был бесстыден в своих поступках и словно бы даже щеголял ими.

Любимым его анекдотом было:

Змея уговаривает утку перевезти её на другую сторону реки. Утка ей: «Но ведь ты меня ужалишь!». Змея клянётся: «Нет, не ужалю». Та её перевезла и змея её тотчас ужалила. Утка, умирая: «Но ты же обещала!». Змея ей: «А вот такая уж я подлая!».

Рассказав, он хохотал во всё горло, повторяя «А

вот такая я подлая!» - очень уж ему нравился этот анекдот.

Он объявил мне войну с того дня, когда я был определён на ту не шибко высокую должность, на которую претендовал он сам, хотя не имел никаких оснований. Должность всё-таки требовала институтского диплома и репутации порядочного человека, он же не имел ни того, ни другого. Но посчитал, что заслуживает должности той. И вот началось...

Он был последователен и неотступен в своих враждебных действиях - то были и мелкие пакости, и крупные подлости. Наши столкновения следовали одно за другим. До рукоприкладства у нас не доходило, но разговоры получались нервные, в высшей степени напряжённые, а заканчивались каждый раз тем, что он заявлял: скоро меня уберут с этой должности, он добьётся этого во что бы то ни стало.

Ради достижения поставленной цели он писал в разные инстанции, уличая меня во всяческих грехах. Например, будто бы я хапнул из бюджетных средств крупную сумму денег - из Москвы приезжала комиссия, тщательно проверяла нашу бухгалтерию, ничего похожего не обнаруживала и уезжала, пожимая плечами. Мой противник отнюдь не чувствовал себя уличённым во лжи, более того, он торжествовал, распускал слухи: мол, комиссия хорошо потрепала

мне нервы, и теперь непременно будет возбуждено против меня уголовное дело.

Раз за разом ходил он в обком партии - тогда все вопросы решались в обкоме - с какими-то жалобами. В обкоме знали ему цену, однако по долгу службы принимали, вежливо выслушивали, о чём мне потом сообщали вскользь.

Более всего меня обескураживало вот что: он писал в так называемый *угловой дом*. Что он там писал, не ведаю, но весёлые сотрудники того дома иногда сообщали мне:

- А на вас опять *телегу* накатил этот ваш... Хотите почитать?

Я отказывался.

- А мы вынуждены читать, такая у нас служба.

- Если у вас закрались какие-то сомнения или подозрения на мой счёт, то вызывайте к себе официальным порядком.

- Ну, что вы! - смеялись они в ответ. - Какие подозрения! Или мы его не знаем!

- Зачем ты беспокоишь эту службу, что в *угловом доме*? - спросил я однажды автора этих доносов.

- Ну, я понимаю, когда ты пишешь в Москву, в наше ведомство, или идёшь в контрольно-ревизионное управление требовать бухгалтерской проверки моей деятельности - это ещё куда ни шло. Но зачем ещё в эту тайную канцелярию?!

- А я такой! - гордо отвечал он.

В другой раз сказал:

- Мой отец в годы войны был начальником СМЕРШ полка! Ты понял? Я продолжаю его дело... вывожу всех на чистую воду... исполняю мой сыновний долг!

Был ли его отец смершевцем, не ли, поди проверь. Да и зачем! Разговаривать с ним было бессмысленно: он сугубую подлость свою возводил в степень героического подвига.

Мне дивно было отмечать, как это люди могли пожимать ему руку, разговаривать с ним вполне мирно, даже приятельски. Неужели всё-таки из опасения, из чувства самосохранения?

Однажды, отправляясь в командировку, я увидел на перроне вокзала его с женой. Она была третьестепенной актрисой в областном театре, некрасивая, худая, унылого облика женщина. Теперь, на вокзале, она обнимала его со слезами на глазах, и я слышал, проходя мимо, как она говорила:

- Возвращайся скорей. Слышишь? Скорей возвращайся.

И такая нежность была в её голосе!

В очередной раз я был озадачен: этого негодяя может любить женщина... Ясно же, что она именно любит его, горячо и преданно, раз так обнимает, плача, и так говорит. Но ведь она знает о всех его «подвигах», в том числе и о том, что он путался то с одной женщиной, то с другой... И что же, она его

прощает?

Странное дело: после того случая я как-то отмяк душою к этому человеку. Нет, я его не простил, но всё-таки стал снисходительнее.

«Раз его любит женщина, - решил я, - значит, он чего-то стоит».

ПОДВИГ

На городском пляже столпотворение голых людей: и купаются, и играют в волейбол, и просто лежат, и сидят тесными компаниями, угощаясь пивом. Мимо одной такой компании прошёл Дим Димыч, огляделся, выискивая для себя свободное местечко.

- Димка! - крикнула женщина из тех, что сидели кружком. - Не лезь в воду, поросёнок ты этакий! Уши оборву!

«Тёзка» - машинально отметил Дим Димыч и не сразу понял, который из малышей, бегающих тут и играющих Димка. Потом догадался: вон тот серьёзный мужичок лет пяти... нет, не более четырёх, белоголовенький, толстенный, именно мужичок. Он что-то старательно строил из песка - вроде бы, кораблик: черпал воду полиэтиленовым пакетом и носил, и выливал в свою ямку, где песчаный кораблик должен был плавать. Понятное дело, кораблик плавать не хотел, расплывался, кораблестроитель

хмурил белёсые брови и упорно продолжал свои труды.

В компании, где сидела его мать да, небось, и отец, то и дело раздавался громкий хохот. Да и вообще на пляже было многолюдно, многоголосо. Ребятишки визжали, взрослые перекликались, по Волге то и дело лихо проносились моторные лодки.

Дим Димыч, блаженно жмурясь, разделся и вступил в воду. Поначалу она показалась ему холодноватой, но уже через несколько шагов решил: не вода, а парное молоко. Он всегда купался в этом месте и знал, что сразу за мелководьем в нескольких шагах яма, он и ухнул в неё, ощутив всем телом прохладу воды. За ямой узкая отмель, за которой опять будет глубина. Дно тут неровное оттого, что когда-то прежде в этом месте разгружали баржи с гравием да песком, увозили отсюда на стройку, и вот экскаватор черпал тут и там.

Дим Димыч поплыл на спине; ему видно было всё небо с блещущим солнцем, с редкими облаками, а чуть поднимешь голову, - перед ним весь пляж, за которым пивные палатки в ряд, там тоже народ толпился и гремела ударная музыка. Не под неё ли белоголовенький тёзка вдруг рассердился и стал вытанцовывать на том месте, где он строил кораблик.

«Если б Вера жила с нами, я б тоже ходил с Вадиком сюда», - мимолётно подумал Дим Димыч.

Он не заплывал далеко - пугали моторные лодки,

сновавшие туда и сюда. Трезвые ли парни на них? Налетит такой лихач спьяну, стукнет по голове лодкой своей... а то и винтом моторным заденет.

Он возвращался, когда увидел, что мужичок Димка, насупясь, что-то разглядывал на песке; вдруг хлопнул ладошкой - из-под неё вылетела стрекоза и, блестя крыльями, зависла над водой. Он азартно кинулся за ней по мелководью и почти поймал её на лету, но вдруг исчез - провалился в яму. А Дим Димыч как раз подплывал к отмели перед ямой той и мгновенно оценил ситуацию: ребенок скрылся в воде, а мать его занята весёлым разговором в компании. Вокруг люди, но они тоже не обратили внимания... Всё решали секунды. Дим Димыч рванул вперёд, выскочил на отмель и нырнул в яму. Он увидел Димку - с вытаращенными глазами и открытым ртом ребёнок дёргался, беспорядочно хватал руками воду...

Всё произошло в считанные секунды. Дим Димыч подхватил его, вырвался из водяного плена, перевернул ребёнка вниз лицом, встряхнул - вслед за водой изо рта послышался хрип парнишки. А люди вокруг уже обернулись к ним, поняв, что рядом с ними средь бела дня чуть не случилось несчастье.

Вихрем подскочила Димкина мать, отшлёпала сына, приговаривая:

- Сколько тебе раз говорить? Не лезь в воду, не лезь!

- Глядеть надо за ребёнком! – гневно крикнули ей

со стороны. - Хорошо, что мужчина заметил!

Дим Димыч с достоинством, не спеша одевался. Он, признаться, ожидал, что сейчас к нему подойдёт мамаша с благодарными словами, с благодарными слезами, но та даже не смотрела в его сторону - так была рассержена. Несостоявшийся утопленник Димка между тем ревел в полный голос.

А Дим Димыч удалялся с пляжа походкой человека, совершившего героический поступок. Гордость распирала его: он только что спас ребёнка... и не ждёт благодарностей. Вот истинное благородство!

- А я подвиг совершил, - сообщил он дома жене. - Парнишку спас, чуть не утонул парнишка. Годика четыре ему, нашему Вадику сверстник.

Та с серьёзным видом:

- Ордена не бери. Лучше деньгами.

Он поведал с подробностями, как дело было.

- Теперь я ему вроде как крестный отец.

- Да знаю я этого Димку! - разволновалась вдруг жена. - Вот как бывает! Мать у него шалава, я с нею поговорю.

- Не надо, - сказал Дим Димыч.

- Как это «не надо»? Ребёнок мог утонуть! У сорока няnek дитя без глазу.

- Но не утонул же! Я был рядом.

На другой день или на следующий он увидел «крестника» возле соседнего дома - тот играл в песочнице с двумя девчонками. Дим Димыч испытал

прилив отцовского чувства. Постоял, посмотрел, улыбался.

Так и повелось с тех пор: он всякий раз отмечал: «Мой в школу пошёл...», - «Моему велосипед купили...», «Вот вырастет да женится - у него будут дети, маленькие такие димдимычи... как бы мои внуки».

ПОШУТИЛ...

День летний, солнечный, но не жаркий. Воскресенье. На работу не идти... Игорь вышел на центральную улицу, тут сквер, посаженный клёнами да вязами, кое-где каштаны цветут... А меж ними прямая дорожка, вымощенная кирпичиками. Мамаши с колясками тут, девушки прогуливаются, поглядывают туда и сюда с интересом, старички на скамьях посиживают... Хорошо!

Игорь потоптался немного, не зная, куда пойти, направо или налево. Пошёл направо, приостановился, дальше пошёл, и при этом улыбался этак без всякой причины. Встретился знакомый парень, спросил:

- Девку свою ждёшь?

- Не. Она замуж вышла.

- Оттого тебе и весело?

- Да нет, просто так... Настроение хорошее. Хочется какую-нибудь глупость сказать, а не

получается. Всё только умные мысли в голове,

- Ну-ка, поведай хоть одну.

- А что я сейчас сказал? Разве не умно?

- Ну да, - согласился приятель. - Если так, то конечно.

И они разошлись. Далее Игорю попалась молоденькая мамаша с малышом. Она стояла возле детской коляски, а малыш гулял по травке под клёнами, оглядывался, с интересом изучал окружающий мир. Ему было то ли два, то ли три года - этого Игорь не мог определить - но одет он был прямо-таки по-жениховски: в джинсиках и джинсовой же курточке, на голове беретик лихо заломлен, но ножках кроссовочки, почти настоящие, спортивные. Какое славное личико у малыша!

«Почему так мир устроен? - по-умному размышлял Игорь. - Все детишки - загляденье. Откуда берутся алкаши, бандиты, бомжи?

- Никита, не ходи туда, - строго сказала юная мамаша. - Там дорога, машина тебя задавит.

Малыш оглянулся, посмотрел на неё строго, словно говоря: женщина, как можешь ты мне, мужчине, приказывать? Игорь впервые в жизни подумал, что хорошо вот так гулять с малышом, разговаривать с ним, подсказывать что-то...

- Вырастет - будет пьяница, бабник и дебошир, - сообщил Игорь юной матери.

Та посмотрела на него и нахмурилась в досаде,

но сдержалась, ничего не сказала. А Игорь продолжал:

- Табашник, разгильдяй и матерщинник.
- А ты дурак, идиот и дебил, - отозвалась она.
- Картёжник, скандалист и бандит, - перечислял он.

- Или бомж.

Мать Никиты вспыхнула праведным гневом, сделала два быстрых шага и звонко шлёпнула Игоря ладонью по щеке. После чего подхватила малыша под мышки, посадила в коляску и гордо удалилась.

Он сконфуженно потёр щеку: «Пошутил, называется, по-умному...».

Всё бы ничего, но сцену эту могли видеть ближние зрители, то есть и такие же мамы с детьми, и вон те две подружки, они хихикнули...

Нет, он не утратил своего веселого расположения духа, но внутри что-то поскрёбывало, осталась досада, и душа требовала отмщения. Надо было как-то поправить проигранное дело, просто так нельзя оставлять. Игорь, что называется завёлся. Это, что же, пошутить нельзя? Как тогда жить? Эту мамашу ему и впредь придётся не раз встретить: городок невелик, сквер только один. И она будет посматривать на него с превосходством, как победительница! Так, да?

Игорь был не из тех, кто безропотно сносит обиды и оскорбления. Он из тех, кто и несчастный случай повернёт себе на пользу.

Через неделю он знал, как зовут юную мамашу... где она живёт и где работает... в какой садик водит

Никиту...

Ещё через неделю ему стало достоверно известно, что она была замужем, но почему-то вскоре развелась... Наверно, так же решительно расправилась со своим мужем... если, конечно, тот оказался столь же умным, как и Игорь.

Полученная пощёчина странным образом располагала его к более близкому знакомству. А самое главное, парнишечка её, Никита, был такой славный! С ним, как оказалось, можно поговорить на серьёзные темы.

Через полгода настойчивых ухаживаний - не столько за нею, сколько за Никитой: Игорь ходил к садику с ним повидаться, потом провожал до дому, дарил малышу то и сё... Так вот, через полгода настойчивых ухаживаний, юная мама Никиты стала женой Игоря и, как утверждают его друзья, он очень поумнел.

РАЗМЕЧТАЛИСЬ, ГЛУПЕНЬКИЕ!

Они прожили совместно без малого полвека, не расставаясь; у них была уже взрослая дочь, но она жила отдельно - на соседней улице, и часто их навещала.

- А знаешь что, - сказал однажды муж жене, когда они сели поутру завтракать, - у меня родилась

идея.

- Не может быть! - хмыкнула жена.

Они иногда любили подтрунивать друг над другом - верный признак тесного супружеского союза.

- Ты только представь: вот если в Спасском продаётся дом Катерины.

- Какой Катерины?

- А про которую говорили: она в подполе деньги считала.

- Так ведь её дом снесли.

- Ну да, снесли и на его месте лет пять назад кто-то из городских поставил новый.

- Место там хорошее, - согласилась жена, и лицо её приняло мечтательное выражение. - Самое лучшее в Спасском. Я согласилась бы там поселиться насовсем.

- Ага! - обрадовался он.

Тут они оба почувствовали как бы прилив вдохновения и говорили, перебивая друг друга, о том, как им обоим нравится это село на реке Нерль, как хороша эта река, и ручей Ир, впадающий в неё, и лес под названием Родионово.

- Там, куда ни пойдешь, всё радует глаз! А простор-то какой! Помнишь, в то лето, когда мы приехали и нас поселили в школе... я так полюбила то школьное крылечко, этот вид на реку!

- Но от того места, где дом Катерины, вид ещё

лучше!

Тут они и вовсе воодушевились.

- Но с чего это новые хозяева будут дом продавать? - усомнилась жена.

- Ну, представь себе, - говорил муж почти умоляюще. - Давай помечтаем...

- Мечтать не вредно, - согласилась она.

- Может, работы в селе не нашлось, и вот хозяева дома как раз теперь хотят переехать в город..

- Ну и на какие шиши ты купишь у них дом?

- Продадим нашу двухкомнатную.

Тут они некоторое время помолчали, потом разговор продолжался:

- А что, если не продавать, а обменять нашу квартиру на тот дом?

- Хорошая идея! Мы уже старики, нам жизни осталось ещё лет десять. И эти годы мы прожили бы в деревенской тиши...

- Я хочу, чтоб было крылечко, - сказала жена тоном маленькой девочки. - Хочу посидеть на солнышке... и чтоб был огородик небольшенький...

- Эх, а я ходил бы в Родионово за грибами...

Мечтания всё более и более разогревали их.

Дело в том, что для него те места были родными - он вырос хоть и не в селе Спасское, но в соседней деревне. И вот в детстве всегда завидовал спасским мальчишкам: они купаются в Нерли, в чистой воде, а он в пруду, там вода всегда мутная, жёлтая. Что

касается его жены, то она тоже выросла в деревне, но далеко от этих мест, и в ней была «деревенская закваска», что очень сближало супругов. Когда были молодыми, каждое лето приезжали на Нерль вместе с детьми и жили целый месяц в палатках на берегу.

- Надо написать туда письмо, - с жаром говорили они теперь. - Вдруг и в самом деле там продаётся именно этот дом, на этом месте!

- А лучше бы съездить туда и предложить хозяину обмен. У нас тут, в городе, хорошая квартира. Он найдёт себе работу запросто...

Всё удачно складывалось в их мечтах. Весь день они ходили счастливыми, припоминая и то, и это: как сидели вечерами возле костра, как ходили на родничок за водой...

- А я бы тот родничок расчистила, выложила камушками...

- Рыбачить можно и с берега, и с лодки...

- Молоко можно брать у соседей, парное...

До того размечтались, что жена уже смахивала счастливые слёзы.

- Надо поехать и всё разузнать.

Так они решили оба. Но была уже глубокая осень, ехать в Спасское на разведку лучше по весне.

- В мае поеду, предложу обмен, - твёрдо заявил муж. - Дело верное!

А вечером пришла дочь.

- У нас родилась идея! - сообщили они ей в один

голос.

- Не может быть! - сказала она, тоже любившая подтрунивать над ними.

- Мы решили переехать жить в Спасское.

И родители изложили дочери свой план, согласно которому всё складывалось самым лучшим образом.

- Размечтались, глупенькие! - улыбалась она.

Но потом воодушевилась и сама.

- А знаете что, я тоже согласна переехать туда. Если продать наши две квартиры, можно купить хороший сельский дом.

Они с жаром обсуждали открывающиеся перспективы: что посадить в огороде, какие цветы будут в палисадничке... можно завести десяток кур с красивым петухом.

- И собаку! Я лайку хочу.

- Да хоть бы и беспородную дворнягу! Помнишь, у Власовых, у Марии Афанасьевны, был Кешка? Умный, приветливый.

Помечтали, и дочь ушла от них в таком же счастливом настроении.

Спать супруги легли - долго не могли уснуть, всё обсуждали будущее житьё-бытьё в деревне.

А наутро... Нет, не зря говорят, что оно мудренее вечера - у них наступило как бы отрезвление. Стали оглядываться: в их квартире всё так удобно... так уютно. И город, в котором живут, неплох, по крайней

мере магазины рядом, есть куда пойти прогуляться...

- Квартиру будет жалко, - вздохнула жена.

- Жалко, - согласился муж.

- В деревенском-то доме уж ни ванны, ни тёплого туалета.

- Ну, это можно устроить... Но вот с дровами как? В Спасское ещё газ не провели. И водопровода нет - за водой далеко ходить.

- Подумаешь и так, и сяк.

- Кругом-то хорошо нигде не бывает.

Вечером дочь пришла:

- Ну, как вы? В Спасское собираетесь?

Они ей:

- Да как тебе сказать... Квартиру жалко.

- Вот и я тоже подумала, - призналась дочь.

Поговорили уже без прежнего воодушевления, повздыхали.

- Но я всё-таки съезжу весной в Спасское, узнаю,

- сказал глава семьи себе и им в утешение.

Так угасает костёр, если в него не подкинуть сухих дровишек.

ДЕРЕВЕНСКОЕ СВАТОВСТВО

Было это давно, можно сказать, в стародавние времена.

Его звали... впрочем, имена тут не играют роли,

их можно не упоминать. Достаточно того, что я их знаю. Жили они в одной деревне, то есть с самого детства: вместе ходили в школу, играли в лапту... Когда она заневестилась, а он вошёл в жениховский возраст, то словно бы отдалились друг от друга. А почему? Что-то встало между ними невидимой стеной, причём он сознавал эту стену в большей степени, нежели она. Прежде мальчишке можно было девчонку толкнуть или дёрнуть за косичку, то теперь поди-ка толкни - она так глянет!

Он же был при своём мужественном внешнем виде парнем застенчивым; чтобы пошутить, покуролесить, повеселиться - этого от него не дождёшься.

Итак, они жили в одной деревне, почти соседи: её дом на красном посаде, то есть передними окнами на полуденную сторону, а его на чёрном, к солнцу задворками - этак наискосок один от другого, через улицу.

Он досадовал, что друг-приятель его, из той же деревни, только что вернувшийся из армии, явно старался понравиться ей.

- Увиваюсь! - весело и непринуждённо признавался он.

А у этого друга-приятеля, ставшего теперь соперником, бойкая сестрица его старалась помочь брату. И вот она как раз в середине зимы, вроде бы, шутки ради, однако же и с ясным намёком, потрусила печной золой тропинку по сугробам от своего дома,

ясно намекая таким образом для общего деревенского мнения, кого именно её брат хотел бы иметь своей невестой да и женой. Впрочем, золы у неё хватило только на половину пути и окончательно «невестин дом» ещё не обозначился. В деревне же другие девки на выданье!

А у него не было сестрицы бойкой, которая совершила бы то же. Не самому же ему заняться! Дело в общем-то довольно глупое. Но от глупостей иногда больше проку, чем от умностей. Следовало срочно что-то предпринять, а иначе тропу пометят золой да сажей от крыльца к крыльцу, и, как знать, вдруг сватовство друга состоится - будешь потом локти кусать!

И вот поздним вечером вышел он из своего дома покурить, постоял, поглядывая вдоль улицы... Была морозная погодка, небо ясно, светила луна, снега сияли. Постояв, он решительно вернулся в дом, нагреб из печки в старое дырявое ведёрко золы с потухшими угольками, вышел на улицу, опять постоял, слушая, как колотится сердце. Подумал: «Словно воровать собрался».

Деревня была тиха - ни единой души не видать.

«А кто меня увидит? - сказал он себе. - Никто. А завтра никому в голову не придёт, что это я...».

И вот пошёл по тропинке наискось через дорогу, с сугроба на сугроб, и трусил, трусил себе под ноги золой. Её хватило как раз до заветного крыльца. А

тут случилось...

Вдруг распахнулась дверь - выскочила она в фуфаячке ватной, кое-как наброшенной на плечи - из тёплого дома на мороз - и замерла, тихо охнув:

- Ой! А что это ты?

Он совсем растерялся и стоял дурак дураком, только сказал:

- Да вот....

- Зачем? - изумилась она.

Но не рассердилась - он это сразу уразумел.

- А чтоб знали...

- Кто?

- А все...

- Это ты... ко мне?

- Да, - осмелев, отвечал он.

Она помолчала и засмеялась.

- А если б мы жили в разных деревнях? - спросила она, сдерживая смех. - Всю дорогу пометил бы от деревни к деревне, километров пять-десять?

Той зимой они поженились. Не венчались, не устраивали пышной свадьбы... но зажили дружно. Всё пошло чередом: работали, вырастили детей, переженили двоих сыновей и выдали замуж двух дочерей...

Никогда они не говорили друг другу этого слова - «люблю». Только однажды в кругу гостей, - а я был на том семейном пиру! - немного подвыпив, он сказал:

- Пятьдесят лет дышим рядом... а я наглядеться

на неё не могу!

Рассказ этот следовало бы закончить словами старинного сказания:

Они жили долго и счастливо, и умерли в один день.

«НЕ СЕЙЧАС!»

Рассказы о подобных случаях обычно начинают словами: ничто не предвещало беды.

Именно так, и на этот раз ничто не предвещало беды. День как день, в смысле погоды ничем не лучше и не хуже прежних. Было начало апреля, всё свидетельствовало о том, что пришла весна, именно она хозяйничала: снег почти весь сошёл, остался только в низинах да по лесам, на Волге вдоль берега длинной полосой уже стояла вода, а лёд на середине поднялся и вот-вот стронется в дальний путь. Пригорки немного подсохли и даже зеленые росточки травы уже пробивались. Но в тот день, о котором речь, лёгкий морозец напоминал, что зима не ушла насовсем, она может и вернуться.

Наш новенький автобус разбрызгал мелкую лужу возле автовокзала, хрустнул тонким ледком, развернулся лихо и помчался.

Я ехал в Тверь, собственно, из-за пустяка: пригласили на совещание, не ахти какое важное,

можно бы и не ехать. Но и в кабинете сидеть что за удовольствие! День весенний, почему бы и не прокатиться.

Возле деревни Павлюково в низине довольно глубокой малая речка. Наш молодой шофер скорости не снизил, устремился вниз, и мы лихо вылетели на подъёме. Признаться, я насторожился: это в городе потеплее, там лужи, а тут гололёд, скользко.

Мы выехали на Ленинградское шоссе, и опять-таки ничто ещё не предвещало беды. Но вот когда миновали деревню Безбородово, тут крутой поворот и мост, справа и слева Московское море, на нём всплывший лёд, по краинам вдоль насыпи тёмная вода.

Автобус наш мчался этак весело, и на очередном повороте его занесло на встречную полосу. Я, сидевший на заднем сидении, вскочил и мог видеть, как шофер лихорадочно крутил руль, но на скользкой дороге машина не слушалась его. Нас развернуло боком по ходу - грузовик, мчавшийся навстречу, разминулся с нами впритирку. Мне видно было, что шофер запаниковал. Мы снова вылетели на встречную полосу, после чего наш автобус снёс придорожное деревце и рухнул круто вниз, в воду.

На какое-то ничтожно малое мгновение мы как бы зависли в воздухе. Что-то отчаянно закричало во мне: «Не сейчас! Не сейчас!» - это был не мой голос, а вот именно что-то внутри меня. То есть я мгновенно

осознал, что вот-вот случится то страшное... именуемое гибелью, смертью.

Вместе с сидевшими рядом со мною я «пропахал» половину вставшего торчком автобуса, опрокидывая спинки сидений, и, наверно, стукнулся головой обо что-то, отключился... А когда очнулся, оказалось, что лежу посреди салона в скрюченном состоянии; по мне ходили или об меня опирались ногами, больно ступили на ухо и на ладонь руки. Автобус уже ушёл в воду почти наполовину, и в этой ледяной каше с отчаянными криками возились в полной панике люди. Все стремились к спасительному боковому окну, которое уже было выдавлено, и вот теснились, отталкивая друг друга. Кто-то кричал:

- Без паники! Без паники!

Но именно он, кричавший это, успешней всех выбирался в окно. А между тем автобус медленно сползал по крутизне берега. Люди плескались рядом со мною, но я был ещё сухой, вот только без очков, они каким-то образом оказались у меня в руке, но были без стёкол, одна оправа, и я отбросил их.

Стал пробираться по сбитым спинкам сидений вверх, к заднему стеклу. Мне представилось, что сейчас ударю по нему кулаком, и оно вылетит. Ударил и раз, и два, но не тут-то было: прочное стекло! За спиной у меня женщина плачущим голосом умоляла:

- Ах, пожалуйста, сделайте что-нибудь!

Я совершил акробатический трюк, какой в

обычном состоянии не совершил бы ни за что: задрал вверх ногу и, упираясь спиной неведомо во что, ударил со всей силой. Заднее стекло, как я полагал, должно было вылететь целиком, но в нём лишь образовалась дыра в размер ботинка. Я стал выламывать острые края.

- Скорей, скорей! - умоляла позади меня женщина тем же плачущим голосом.

Высунулся наружу в полкорпуса, тут меня подхватили подбежавшие с шоссе люди. Вытащили! В общей суматохе взобрался по насыпи на шоссе. Всё лицо у меня было разбито, кровь закапала куртку на груди, и пальцы правой руки были мокрыми от крови - это я порезался.

Мимо меня пронесли шофера: сказали, что у него сломана нога... кажется, открытый перелом.

Без очков мне беда - весь окружающий мир потерял ясные очертания. Я остановил проезжавшую мимо легковушку - не до Твери теперь и не до совещания этого дурацкого! - только домой. Уехал и доволен был, что для меня всё закончилось так благополучно...

И только дома откуда-то приплыло ко мне осознание: а та женщина, что была в автобусе у меня за спиной и умоляла? Почему я не уступил ей право первой выбраться через проломленное заднее окно? Почему не помог ей? Может быть, она тоже поранилась? То есть у меня и мысли такой не

возникло! Я даже не оглянулся, когда она умоляла: «Скорей, скорей! Сделайте что-нибудь!».

Поскольку все, и сухие, и мокрые, выбрались из автобуса, то ясно, что и она тоже. Но это меня никак не оправдывает!

И мысль эта виноватая уже не отступала.

СВЕТЕ ТИХИЙ

В то время Володя Осокин жил в небольшом городке Осташкове. У него была жена и двое совсем маленьких детей. Работал он в управлении «Селигерстрой», учился заочно в институте.

Был май. В июне ему предстояло ехать на экзаменационную сессию, и надо было срочно отослать в институт курсовую работу. Та курсовая тяготила его. И вот однажды вечером, когда всё его семейство улеглось спать, он сосредоточился и всю ночь читал и писал, листал справочники, вычерчивал схемы...

В доме было тихо, ничто не мешало инженеру-заочнику Осокину прилежно трудиться. Ему хотелось закончить, наконец, эту курсовую, и он закончил её как раз в то время, когда настольная лампа стала уже не нужна: в окна вступил рассвет. Володя удовлетворённо вздохнул, оглянулся на мирно спящую жену и детишек своих, улыбнулся, расправил плечи.

Он настолько был перевозбуждён работой, что спать не хотелось, и вот вышел на улицу, побрёл вдоль порядка домов по тропинке-тротуару, обходя лужи. Город ещё не пробудился от сна, улицы были пустынные - ни одного прохожего! Шаги его эхом отдавались от стен домов.

Он шёл через сквер по асфальтовой дорожке мимо цветущих кустов сирени. Солнце ещё не взошло - вот-вот должен был проклюнуться его краешек, а всё небо чисто, по небосклону бирюзово, над головой Володи Осокина становилось нежно-голубым и к востоку светлело, румянело... Ветерок веял свежий, радуя ликующее сердце, да и не ветерок вовсе, а так себе, едва ощутимое дуновение.

- Спят все, - несколько раз повторил Володя, дивясь тому, что можно спать в такое утро.

Он дошёл до пристани. Небольшой вокзальчик ярко освещён изнутри, но и там безлюдно. Дремало и озеро. По его зеркальной глади иногда пробежало лёгкое содрогание.

Володе Осокину приятно было сознавать: вот он закончил курсовую, сегодня пошлёт её в институт... теперь он свободен - словно тяжкий груз свалился с плеч! Вот проснётся жена и удивится этому его «подвигу», равно как и тому, что муж на рассвете в одиночестве гулял по городу. Он расскажет ей, какое было чудесное утро, которое она так сладко проспала. Он скажет ей, что надо всегда вставать раным-рано,

вместе с солнышком - это такое счастливое время!

- Свете тихий, - несколько раз произнёс он вслух, окидывая взглядом всё поднебесное пространство.

Откуда эти слова приплыли к нему? Из какой-то молитвы... - Свете тихий...

Так славно, так восторженно было у него на душе!

У пристани дремал теплоходик. Вот сейчас взойдёт солнце, он проснётся, колыхнётся и побежит-поплывёт по этой озёрной глади.

«Он похож на чайку, которая вот-вот и взлетит».

Краем глаза Володя поймал движение какой-то фигуры - облокотившись на перильца рядом с теплоходом стояла девушка, явно погруженная в созерцание и озера, и неба. Она была в лёгком платье с короткими рукавами - во всей её невесомой фигуре, в тихом шаге, когда она пошла по причалу, сквозило полное душевное умиротворение. А Володя вовсе не расположен был с кем-то общаться в это утро, ему хорошо и одному. Они шли навстречу друг другу и должны были разминуться, а когда поравнялись, она глянула на него, едва заметно улыбнулась, и он, повинувшись душевному велению, протянул ей руку... Это движение смутило и его самого, он даже на мгновение испугался своего поступка - но далее его окатило благодарное чувство: девушка, не промедлив, ответила тем же!

Она была не сказать, чтобы красавица, но очень

мила. Они пошли берегом по широкой натоптанной дорожке, рука в руке, переглядываясь и улыбаясь, не говоря друг другу ни слова, но словно бы ведя молчаливый разговор. О чём? Да, пожалуй, о том, как хорошо: вот утречко славное, озеро сонное, небо чистое, лучезарное... Ладонь её была тепла, а тонкие пальцы холодны. Он тихонько пожал их, и она ответила немного робким, ласковым пожатием.

Лёгкий туманец слоился над Селигером и уже розовел от восходящего солнца. Где-то рядом плеснула рыбка, и ещё одна.

«Окуньки играют», - хотел сказать Володя девушке, но не сказал: не хотелось нарушать их согласного молчания.

Она сделала движение рукой - не отнимала, нет, - приглашала пойти назад к пристани. Они и повернули, и шли всё так же молча, однако же в полном согласии. Подходя к пристани, девушка улыбнулась, кивнула ему и отняла руку. Она пошла от него к окраинным домам неспешным лёгким шагом, словно её относило пробудившимся ветерком, а отойдя на некоторое расстояние, оглянулась. Ему хотелось, чтоб она помахала ему рукой на прощанье. Но нет, не помахала, только опять улыбнулась - он это ясно видел.

Вот, собственно, и всё...

Никогда потом Володя Осокин не встретил этой девушки. Да и не было у него стремления

повстречаться с нею! Зачем? Но вот что славно: всякий раз, когда вспоминал о той утренней прогулке, словно небесный свет проливался в него. Значит, это было что-то важное в его жизни.

Он почему-то не мог рассказать об этом жене, хотя не ахти что случилось: как говорится, не велик грех. Ведь он не опустил до пошлого ухаживания за той девушкой, совершенно незнакомой ему. Тут была какая-то тайна, которую он хранил. Может быть, и она тоже?

Прошло уже много лет - и десять, и двадцать, и тридцать - а он помнил до мельчайших подробностей ту утреннюю прогулку, облик той милой девушки, тепло её ладони и холодок тонких пальцев. Ему даже стало казаться, что и не было вовсе той ранней утренней прогулки, той встречи, а лишь его мечтание, игра фантазии, не более.

Но откуда этот незакатный свет... свете тихий?

2007-2012 гг.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАСАВИН

КНИГИ:

1. ЯСНЫЕ ДАЛИ, повести и рассказы
- М.: Московский рабочий, 1971
2. НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ, повести
- М.: Современник, 1973
3. ХОЗЯИН, повести
- М.: Молодая гвардия, 1974
4. В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА, повесть
- Л.: Лениздат, 1975
5. ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, повести
- М.: Современник, 1978
6. ПОРЕЧЬЕ, повести
- М.: Современник, 1981
7. ХОРОШО ЖИВУ, повести и рассказы
- М.: Советский писатель, 1982
8. МАСТЕРА, роман
- М.: Молодая гвардия, 1984
9. ЯСНЫЕ ДНИ, повести
- М.: Советская Россия, 1985

10. СЛОВО О МОЕЙ НЕРЛИ, повести
- М.: Современник, 1986
11. ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, повести
- М.: Сов. писатель, 1990
12. ВЕЛИКИЙ МОСТ, повести
- М.: Современник, 1990
13. ТЁПЛЫЙ ПЕРЕУЛОК, повесть
- М.: Детская литература, 1990
14. РУССКИЕ СНЕГА, повести
- Т.: Тверское изд-во, 1998

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ В ЖУРНАЛАХ:

1. ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ..., повесть
- «НЕВА», №7 – 1968
2. ХОЗЯИН, повесть
- «ОКТЯБРЬ», №7 – 1969
3. ЯСНЫЕ ДНИ, повесть
- «ЗНАМЯ», №9 – 1970
4. ХОРОШО ЖИВУ, повесть
- «ЗВЕЗДА», №9 – 1977
5. ТРОПИНКИ НАШЕГО ДЕТСТВА, повесть
- «ВОЛГА», №3 – 1978
6. СЛОВО О МОЕЙ НЕРЛИ, повесть без вымысла
- «ВОЛГА», №1 – 1980
7. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОГНЯ, роман
- «ВОЛГА», №№11,12 – 1983

8. РЕКА ЗАБВЕНИЯ, повесть
- «СЕВЕР», №1 – 1984
9. ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, повесть
- «НОВЫЙ МИР», №8 – 1989
10. ОНИ НАСТУПАЮТ, повесть
- «ВОЛГА», №№7 и 8 - 1990
11. НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, повесть
- «НЕВА», №7 – 1990
12. ВАЛЕНКИ, повесть
- «НОВЫЙ МИР», №4 – 1992
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ, повесть
- «ЗНАМЯ», №12 – 1992
14. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №1 – 1993
15. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть
- «МОСКВА», №12 – 1993
16. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №2 – 1994
17. ХУТОРОК, повесть
- «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах
Чеховского общ-ва, №2 – 1994
18. ДИКИЙ РЫНОК, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №1 – 1995
19. ПУСТОШЬ, повесть
- «БЕЖИН ЛУГ», №2 – 1995
20. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах
Чеховского общ-ва, №1 – 1995

21. РУССКИЕ СНЕГА, роман
- «МОСКВА», №9 – 1996
22. ПУСТОШЬ, повесть
- «ВОЛГА», №11-12 – 1996
23. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4 – 1996
24. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки
- «НОВЫЙ МИР», №2 – 1997
25. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», №2 – 1997
26. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 1997
27. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ, повесть
- «МОСКВА», №12 – 1997
28. ХОЛОПКА, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», № - 2000
29. ХУТОРОК, повесть
- «НЕВА», №11 – 2000
30. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 2001
31. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4- 2002
32. РУССКИЕ СНЕГА, роман
- «РОМАН-ГАЗЕТА», №3 – 2004
33. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ, повесть
- «ДОН», №6 – 2004
34. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «ДОН», №5 - 2005

35. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «ДОН», №2 - 2006
36. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ, повесть
- «НАШ СОВРЕМЕННОК», № 8 - 2006
37. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть
- «ПОДЪЁМ», № 9 – 2006
38. ПИСЬМЕНА, роман
- «ДОН», № 10 – 12 за 2006, № 1 – 2 за 2007
39. ХОЛОПКА, повесть
- «РУССКИЙ ПУТЬ №2(11) – 2006
40. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «ПОДЪЁМ», №4 – 2007
41. ЯМУГА, повесть
- «НАШ СОВРЕМЕННОК», №1 – 2008
42. ХОЛОПКА, повесть
- «ПОДЪЁМ», №4 - 2008
43. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(Минск), №4 - 2008
44. ТРУБА ЗОВЁТ, повесть
- «ПОДЪЁМ», №2 - 2009

СОДЕРЖАНИЕ

КУЛИНА КРАСНАЯ (МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ)	4
ПИСЬМО (РАССКАЗ)	24
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОГНЯ (РАССКАЗ)	42
ВОРОВСКАЯ НОЧЬ (РАССКАЗ)	82
ПУСТОШЬ (ПОВЕСТЬ)	108
ПРИВЕТ, СТАРИК! (ПОВЕСТЬ)	136
ПО ГРИБЫ (РАССКАЗ)	201
СПОЛОХИ	
ПАЛОМНИК	229
ВСТРЕЧА	235
ГРОЗА	237
БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ	243
ГОЛУБЧИК	248
ОГОРОДИК	252
ПОДРОБНОСТИ	255
ПРИКЛЮЧЕНИЕ	260
Я ТАКОЙ!	263

ПОДВИГ	268
ПОШУТИЛ	272
РАЗМЕЧТАЛИСЬ, ГЛУПЕНЬКИЕ!	275
ДЕРЕВЕНСКОЕ СВАТОВСТВО	280
«НЕ СЕЙЧАС!»	284
СВЕТЕ ТИХИЙ	288

Юрий КРАСАВИН

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

Отпечатано в ГУП МО «Клинская типография»
141600, Моск. обл., г. Клин, ул. Ленина, 7.
Тел./факс 5-83-97
E-mail: 58397@mail.ru.
Заказ 3207, тираж 30 экз.